

Николай Калинин

Камаринские страдания

Повесть

САМЫЙ УЧЕНЫЙ

Мать любила поговорку: что бог ни делает, все к лучшему, а мне казалось, люди придумали это для оправдания своего бессилия. Еще она часто говорила, что любому человеку рано или поздно за все плохое придется расплачиваться. Перед кем? Определенно, наверное, и сама не знала, поэтому ссылалась на бога, хотя никогда не молилась и икону держала лишь для порядка. А может, считала, что мне трудно понять, и потому уклонялась от прямых вопросов.

Живехонько представлялось, как разбогатевший человек приходит в какую-то поднебесную контору, которая находится где-то между небом и землей, аккуратно достает из бокового кармана дутый кошелек, чтобы расплатиться за все свои грехи, а женщина в очках заглядывает в толстенную книгу и отщелкивает на счетах костяшки, увеличивая сумму. Я так привык к-этим придуманным сказочным сценкам, что и с годами, поняв несколько иначе смысл такой расплаты, не мог изгнать их из своего сознания. Они дополнялись, менялись, становились то смешными, то серьезными. Мне стали видаться люди, у которых не хватало денег и им предстояло снимать одежду, как пропившимся.

Потом, когда я учился в школе и все еще думал над торжеством справедливости, сцены расплаты за грехи перед людьми изменил, поняв, что деньги тут ни при чем. Лучше так: человек в тридцать лет приходит в «контору», и ему припоминают прошлое. Он расплачивается здоровьем, худеет, задыхается. Иной выйдет с трудом, а впереди еще один рубеж-расплата — например, в пятьдесят лет. Снова надо следить за собой и готовиться. Кто ошибался — тем наказание помягче, кто грешил умышленно и зло — наказание беспощадное. Плохие поступки должны укорачивать жизнь, а хорошие — избавлять от болезней, в этом была бы настоящая справедливость. А где она, настоящая? Только в сказках.

Не один раз я рисовал матери свои сказочные сценки расплаты, и она, вечно озабоченная и печальная, смеялась, похваливала, как складно у меня получается; хорошо было бы на свете жить с конторой справедливости, и если я додумался до такой хитрости, значит, быть мне ученым, самым грамотным во всем нашем роду.

Однажды мать была особенно в хорошем настроении, мы фантазировали, вели сказочную игру.

— Ты смотри, сам-то поменьше грехов бери на душу,— говорила она.— Береги свое здоровье, а то к тридцати годам будешь задыхаться, как старик.

— Это не скоро.

— О, пролетят годочки незаметно. Поверь мне.

— В контору пойду работать.

— Ишь ты. Наберешь грехов, как репьев, и станешь судьей, да? — Она ухватила мои волосы и пвтрясла голову.— Таких и без тебя хватает, от них никакого спасенья.

— А у тебя есть грехи?

— Каждый день бывают, как же без них.

— Ну, какие?

— Разные. Вот нынче, например, квокуху окунула в холодную воду, под плетуху посадила. Рассиделась не к делу, чертовка, я ее и окунула хорошенько.

— Тут за дело.

— Это нам так думается. Она-то цыплят хочет, ей природой наречено выводить, а нам с тобой яйца нужны на обиход. Картуз вот тебе надо купить, тапчишки какие-нибудь...

Я понял, что хитрит мать, разыгрывает меня,— уж если признать ее вину, то в чем-то другом, были у нее грехи и похуже. Она срубила две вишни-скороспелки, чтобы не платить лишний налог, а потом жалела и часто говорила, что не простится ей за этих двух красоток — они только-только стали плодоносить и могли бы себя окупить. Самогонку гнала тайком для мужиков, которых надо было просить на помощь в хозяйстве, а когда заливала водой выжженную круговину в земляном полу, приговаривала: от греха подальше.

Мать шутила про квोकуху, и я шутил:

— А у меня грех есть?

— Чужая душа — потемки. Сам думай, есть? Если нет, хорошо и наперед не надо. Обманешь или закуришь — вот тебе и грех. Явишься в свою контору и придется каяться, лбом стенку бить.

— А что, простят? — ухватился я.

— Да почему ж? Если покаешься, дашь зарок — простится. Я так думаю, сынок.

Это дополнение понравилось, и я приспособил его к злой придумке.

Разрушилась моя сказка после смерти матери, когда уже кончил семь классов. И первый кирпичик выпал в один памятный мне день. Собрались мы перед вечером, пятеро ровесников, около скирда свежего сена. Попрыгали поверху, а потом достали папиросы, задымили. Пачка папирос стоила сорок семь копеек и яйцо столько же. Обмен в магазине простой и всем доступный. Но я не курил, не переносил дыма, а так хотелось быть наравне со всеми.

Удобно расположились, разговорились. И тут вылетает от речки бригадир Трескин, размахивая кнутом с криком и угрозами:

— Сволочи, поджигатели! Я с вас шкуру спущу, всех по этапу отправлю!

Ребята шарахнулись в сторону конопляника, на взгорок, а мне гордость спутала ноги, не побежал, потому что не виноват, да и бить никто не имеет права, не крепостной же я человек. Наверное, не хотел бить и Трескин, но он так распалил себя, что остановиться ему — значит оконфузиться перед «поджигателями».

— Скирд растоптали, спалить задумали! — кричал он, подбежав ко мне.— Такое сено, труды людские, а вы... мерзавцы!..

— Не задумывали мы палить.

— Ах ты, мать твою так...

Кнут змейкой взвился над головой и опоясал спину.

— Не лезь! — крикнул я, ловко поймал кнутовище, но ременный конец уже схлестнул ноги выше коленей.

Пока мы вырывали друг у друга кнут — я со слезами, а он с обезумевшими глазами,— молнией прошила мысль: вот это я, всюю сопротивляюсь. Меж тем мы кричали неистово:

— Кто дал право растаптывать сено?

— Кто тебе дал право сечь?

— Запорю.

— Попробуй.

— За все ответите.

— Разберись сперва.

— Разберусь, все получите на орехи.

В какой-то миг глаза наши встретились в упор, и Трескин потребовал уже не злым, а каким-то просящим голосом:

— Дай кнут.

— Возьмите,— сказал я почти вежливо.— И знайте, что я не курю.

Трескин тряхнул плечами, словно избавляясь от наваждения, намотал ремень на кнутовище и погрозил вдаль:

— Ну, гаврики, всех запишу. Вы еще попляшете у меня. Я вас щтрафану.

Ребята стояли на опушке, готовые нырнуть в конопляник, и тут я по-настоящему понял всю свою значимость взрослого человека, который взял на себя ответственность за общую вину, не дрогнул и укротил бригадира на их глазах. Теперь вот стоим с ним рядом, поняв друг друга, а им еще придется оправдываться дома, да кто-нибудь отведает родительской хворостины.

Трескин направился к деревне, сказал совсем мягко:

— Смотрите тут.

Это показалось извинением, наказом приглядеть за «гавриками», и я, удовлетворенный таким исходом, пошел к опушке с прочным чувством человека, закрывшего их своей спиной. И только тут ощутил, что саднит спина, но это теперь моя тайна, о которой никто не должен узнать.

«Вы, гаврики»,— чуть не вырвалось у меня, да вовремя сдержался, чтобы не испортить такой важный момент, не свести дело к шутке, но они ухмылялись, гыгыкали.

— Чего ты не побежал?

— Как она у тебя, горит?

— Ну-ка, ну-ка...

Все четверо соскочили с опушки навстречу мне. Один стал ощупывать, второй прихлопывал ладонью, третий попытался снять штаны. Я жестко рванулся и заехал правой кистью самому любопытному как бы невзначай, он схватился за нос.

— Труссы, балбесы,— выругал я их и решительно пошел к деревне за Трескиным, слыша вослед хихиканье.

Я ругал про себя их самыми злыми словами, не веря случившемуся, не понимая, как можно зубоскалить. «В «конторе» бы вас, гавриков, на расплату за эти подлости».

Солнце коснулось горизонта, а домой не хотелось. Свернул к речке, к кустам, лег на отсыревшей траве, стараясь во всем разобраться, успокоить себя. Ко мне вдруг вернулось недавнее ощущение своей взрослости да ненадолго, опять показался себе униженным, как безотцовщина, которого можно безнаказанно отстегать, и такая ненависть к бригадиру поднялась во мне, что не остановился бы ни перед какой мстью, если бы она исходила откуда-то свыше, но по моему желанию. Думалось: одни бьют, другие предают и так проживут свой век, никакая «контора» не призовет их к ответу. Почему?

При мысли о сказочной «конторе» я показался сам себе смешным, как никогда ранее. Что за штука, эта жизнь? Неужели выгодно в ней лицемерить, хамить, унижать? Хорошо бы поговорить сейчас с матерью о грехах человеческих, только не о тех грехах, какие бывают за курицу-квокуху. Да где она, мать! Я и на могиле-то был не помню уж когда.

Повозмущавшись, стал оправдывать Трескина тем, что он мужик работающий, уважительный и волнуется за общее дело, не в свое же удовольствие ударил кнутом — разнервничался так, что тряслись губы. Мне стало вроде бы легче, но другой голос противился, взывал к отмщению, и, подчиняясь этому голосу, рука потянулась под рубаху к тому месту, где саднило.

С луга ушел я в сумерках, когда густо высыпали звезды. В домах зажгли лампы, все загнали скотину. Мне предстояло еще выслушать упреки сестры в том, что она разрывается дома и на работе, дети без пригляда и даже скотину некому загнать. Что ей сказать? Про бригадира? Но тогда будет большой скандал, Трескин для нее князек, с которым надо только по-доброму. Будь что будет, семь бед — один ответ. Я не спешил.

Шел по деревне, и хотелось палку швырнуть в чье-нибудь окно. Звезды — вот где покой и высшая справедливость. Загляделся я вверх, и они показались мне ледяными, как зимой, мерцали так, будто тряслись от смеха. Вспомнилось, как однажды послевоенной осенью, уже при заморозках, наши взрослые забалдуи откопали где-то в лесу винтовку и стреляли вечером в небо. Вырывали друг у друга, подолгу целились, и каждый доказывал после выстрела, что отколол от звезды осколок. Сколько было хохота, когда одна звезда прочертила небосвод. Запомнились слова Жоры Королева: «Ну, братцы-кролики, вы извините, мне причитается внеочередной» — Жора тогда один во всей Лужне учился в

средней школе и выражался как грамотей. Ему дали лишний патрон за сбитую звезду. Повернул я к своей хате, опустевшей два года назад. Постоял под окнами, и повеяло прошлым, таким милым и дорогим. Вишни, с которых не раз падал, ломал сучья, три яблони, подвал с подгнившим накатом, уже не пригодный для пользования. Все тут мое, но теперь я не мог сказать определенно, какой корень мне дороже — этот, родовой, или корень зятя Петра, где жил. Тут сажали картошку, там у меня было все остальное, каждодневное.

После смерти матери наше семейное гнездо рассыпалось: одна сестра завербовалась на торфоразработки, а вторая уехала на стройку в Подмоскowie. Меня взяла старшая, Сашура, которая жила с двумя ребятишками-близнецами через три дома. Увидев во мне помощника, она проводила в Москву мужа Петра заработать на плотницком деле производственный стаж да заодно подлечить больную в коленке ногу, а в случае определения инвалидности — отхлопотать там какую-нибудь пенсийку. Нога у зятя болела не один год, и, когда врачи стали настаивать на операции да припугнули, что дальше запускать болезнь никак нельзя, а то придется отнимать ногу, — он решил уехать в город.

Старшая сестра чтит меня особенно, как единственного брата, да еще, наверное, и за то, что когда-то дал ей редкое для деревни имя, собранное из двух слов: Саша и Шура. И вот Сашура заменила мне мать и отца, умершего еще в сорок седьмом году. Она боялась, что останусь в колхозе, поэтому настаивала, чтобы после окончания семилетки уезжал в город, хотя сама не знала, как будет обходиться одна с двумя детьми, — может, надеялась на скорое возвращение Петра? На техникум или на районную десятилетку мы не рассчитывали, а вот ремесленное училище подходило по всем статьям: казенная одежда и обувь, общежитие, трехразовое питание...

Проклиная бригадира Трескина с его ременным кнутом, я подумал, что и сам хорош со своим упрямством и правдолюбством, за что не раз выслушивал упреки сестры. Говорила она и о кнуте, когда принес характеристику и свидетельство об окончании неполной средней школы. Внимательно прочитала эти документы, покачала головой:

— Все-таки ты у нас серенький какой-то. Вот читаю характеристику и не пойму, хвалят тебя или ругают?

— Другие еще посерей меня.

— Зачем тебе глядеть на других, ты хорошие примеры бери.

— А что тут плохого? Ну-ка, скажи.

Я взял у нее характеристику, готовый доказать: я вовсе не такой, как все, и вовсе не серенький.

— Упрям как козел — вот что плохого.

— Правду говорю, а ей не нравится. Разве непонятно?

— Прочитай получше и сам поймешь. Характеристику, уместившуюся на одной страничке

тетрадного листа, несмотря на крупные, растянутые слова, я выучил почти назубок, пока шел из школы, но еще раз перечитал, соблюдая все знаки препинания.

«Селезнев Иван Максимович ученик-среднячок, без натяжек переходил из класса в класс. Любит русский язык и литературу, хотя больше четверки не получал. Задает неожиданные вопросы, склонен к фантазии. К порученному делу относится старательно. Мальчик посредственных способностей. Замкнут, иногда страдает упрямством. Избегает общественной работы. Но правдив и откровенен, из-за чего пользуется уважением товарищей».

— Ну и что? — спросил я. — Не хочу выделяться, вот и не лезу в общественную работу. Зато правдив и откровенен. — Я прищелкнул языком.

— Только и всего? Ты за свою правдивость кнута будешь отхватывать.

По сердцу полоснули эти слова, но я справился с собой, сохранил бодрый тон.

— Уважением пользуюсь.

— Да где ты пользуешься, горе? Вот тобой будут пользоваться, если останешься таким.

Сказанное шиворот-навыворот удивило меня неожиданно открывшимся новым смыслом, о

котором классная руководительница, как видно, не подозревала, говоря: «Правдив и откровенен, из-за чего пользуется уважением товарищей». А ведь и в самом деле не умею пользоваться уважением за свою правдивость. Наоборот, страдаю от насмешек.

Разглядывая свидетельство, сестра вдруг сделала открытие:

— Ваня, а ты знаешь, что теперь самый ученый в нашем роду? Да-да, семилетку у нас пока еще никто не осилил — ни двоюродные, ни троюродные.

Такое открытие обрадовало меня. Пятерка была лишь по поведению, что особенно ценилось. Но я знал хорошо все части света и столицы многих государств, мог определить площадь огорода, заглядывал в газетки — что еще надо? Я был горд собой и взволнован. В первую ночь, размечтавшись о своем будущем, соскочил с постели и зажег спичку, чтобы еще раз взглянуть на свое свидетельство с просвечивающими гознаковскими узорами.

...Пройдясь по картофельной ботве мимо вишен, я вернулся к хате, заглянул в окно с солнечной стороны и увидел сиротливую печку в розовой подсветке — в окошко с западной стороны светило июльское зарево. Сколько мы переговорили с матерью на этой печке! И появилось желание сбить замок, войти и погладить ее, как человека, чем-то утешить, облегчить ее одиночество.

Ушел я со своего родного корня готовый к скандалу. Сестра убирала сухой торф.

— Мы поужинали,— сказала она спокойно.

— Скотину загнали?

— С твоей помощью.

— Да ладно, один раз получилось так...

— Иди, там тебе вызов из ремесленного прислали.

Вот она, причина ее спокойного разговора,— долгожданная бумага. Я метнулся в хату, схватил на столе бумагу с печатными буквами и стал читать как стихи, чтобы запомнить наизусть. Возбужденный мыслями о предстоящих переменах в моей жизни, я не находил места в хате. В дверях столкнулся с сестрой, сказал ей, что посижу на улице. Устроился на чурбаке, но не сиделось. Пошел по деревне и, услышав ребячьи голоса, повернул назад. Думал о Лужне, будто прощался с нею. Трудно прощаться, и потому убеждал себя, что Лужна — скучная деревня. Нет в ней ни магазина, ни колхозной фермы, ни школы. Далее мост через Ицку построили в километре вверх по течению. В такой заброшенности- казалась событием даже телефонная линия, которую протянули от районного центра Сосновки к отдаленному сельсовету. Подолгу наблюдал, как ставили столбы с куколками наверху, натягивали провода. Один столб установили на нашем огороде, да еще с подпорками, потому что линия здесь делала поворот. Сестра ругалась, а я радовался. Столб этот был вроде как моим другом, с которым можно поговорить. Любил я слушать его музыку, наблюдать за птицами — они часто садились на провода, раскачивались на ветру. А если приложишь к столбу ухо, кажется, что переливчатый гуд переходит в тебя, наполняет силой. С трудом верилось, что из дальнего сельсовета можно поговорить с любым городом, и приятно было сознавать свою причастность к такому важному факту: наш огород и наш столб. Чтобы земля вокруг него не пустовала, стали сажать помидоры — все равно они не вызревали, зарастали травой, жирели и до осени оставались зелеными.

Вернувшись к хате, я увидел, что сестра погасила свет, а мне спать не хотелось. Вышел за огород, на открытое место. Теперь на зарево в северо-западной стороне ничто не мешало смотреть. Оно было такое, что я смог еще раз прочитать вызов училища. Читал, напрягая зрение, а казалось, напрягаю мозг, чтобы постичь какой-то скрытый смысл этой бумажки. Через неделю я буду в городе, это теперь неотвратимо. А сколько было волнений с того дня, как я принес из школы свидетельство об окончании семилетки и стал самым ученым в своем роду!..

Сашура была тогда смешна и наивна в своих рассуждениях, она долго не могла разобраться, по какой из трех специальностей мне обучаться, кем лучше стать: токарем, слесарем или формовщиком? Советовалась с мужиками, но единого мнения не было. Одна специальность денежная, да тяжелая, вторая легкая и простоватая. Выбор сделал я сам — буду токарем.

Казалось, тут даже мое призвание, потому что в школе хорошо усвоил раздел электричества. Знал, откуда берется ток, по каким он мчится проводам, как происходит гроза, почему бывают искры и треск в волосах, когда их расчесываешь. Все мне казалось в электрическом токе ясным, и поэтому токарное дело представлялось доступным и легким.

Документы в училище мы возили с сестрой вдвоем. Она верила, что надо обязательно отвезти лично, выяснить на месте обстановку, поговорить с людьми. Это понадежней, чем отсылать почтой. Но, отдав документы в приемную комиссию, мы никакой надежности не почувствовали. Вернулись в тот же день, только зашли на работу к двоюродной сестре Екатерине, а потом и в ее общежитие, чтобы я знал, где остановиться на ночлег в другой раз, когда поеду один. По городу мы ходили мало, сестра то и дело окликала меня, дергала за рукав и вполголоса говорила: «Поступишь в училище, тогда все этажи сосчитаешь».

Этот вызов на медицинскую комиссию и на экзамены мы ждали с месяц. У меня заходило сердце, когда воображал себя в ладной с сияющими пуговицами черной шинели под ремнем с бляхой «РУ», в настоящих из чистой кожи ботинках и в высокой на военный лад фуражке с блестящим козырьком. Но видел я себя таким франтом почему-то не в городе, а среди односельчан, и прежде всего, среди ровесников. Представлял, как появлюсь на вечеринке и буду стоять рядом с Ниной Паршиной, как приподниму за козырек фуражку и поправлю чуб — и значит, его надо обязательно отрастить, хватит стричься по-детски. Подбирал даже слова — те, что должны соответствовать моему внешнему виду. Брало сомнение: а заслужил ли я такое счастье — учиться в ремесленном?

И вот вызов училища в руках. Он казался мне приглашением в рай на все божье обеспечение, туда, где можно жить вольно, без всякой нужды, где вовремя и сытно накормят, тепло и модно оденут-обуют, уложат спать вечером и разбудят утром. Я силился представить себя в своей сказочной «конторе» так: стою в изношенной одежде, а мне за благородные поступки выкладывают на стол новую одежду, белье и всякие учебные принадлежности. Нет, уже не получается, как раньше, все туманно, подслеповато, никчемно.

Шевельнув плечом, почувствовал утихающую боль под лопаткой, и опять задело за живое, пообещал: «Ничего, Трескин, мы с тобой сочтемся, встретимся на узкой дорожке. Только бы подрасти».

Я пошел спать, хотя знал, что засну не скоро.

ВОЗЬМИ МЕНЯ, ГОРОД

Как ни растягивалась неделя, а дождался я назначенного дня — последнего дня июля. Второй раз за лето обулся, надел пиджак и поехал самостоятельно в город. Сестра, провожая меня до большака, несла сетку с яблоками — гостинцы для Екатерины — и предупреждала:

— Имей в виду, это тебе не деревня. Будешь переходить улицу, лучше смотри по сторонам. На вывески не ротозейничай, не наступай на ноги прохожим. Да по городу зря не шатайся, а то попадешь в какую-нибудь историю, там народ всякий.

— Возьми пиджак, жарко.

— Нет, нет, едешь не на один день. Мало ли какая погода будет. И деньги от греха подальше.

На большаке ждали машину недолго, время было уборочное. Сашура переложила два рубля из моего бокового кармана, где лежали двадцать рублей, — это всего два килограмма пряников, называемых у нас жамками; два рубля на дорогу до станции, остальные на все расходы. Когда вдалеке показалась машина, за которой тянулся длинный пыльный хвост, сестра напоследок наказала:

— Будь поэкономней. На мороженое не кидайся, лучше какую булку купи. Как приедешь к Кате, сразу отдай десятку на продукты. На людях будь покультурней, нос не ковыряй. Да за столом не захватывай, а то скажут: из голодного края.

— Наговорила.

— Вот и наговорила. Смотри за карманом, живо очистят.

— Пусть попробуют. Она засмеялась:

— Горе ты луковое.

Полуторка была с мешками. Едва остановилась, я успел приглядеться к шоферу. Лицо его показалось простоватым, а это надежда на то, что можно обойтись рублем или совсем проехать бесплатно. Экономить нужно было с самого начала, чтобы иметь деньги на карманные расходы. Вторую-то половину пути, от станции до города, ехать предстояло поездом, а там экономить легче.

— До станции? — крикнул я.

— До Парижа, — отозвался шофер с пренебрежением ко мне, безденежному человеку.

— Ваня! — резко окликнула сестра и повелительно кивнула на кузов.

Я взлетел наверх, едва коснувшись ногой колеса. Яблоки сыпанули из сетки, заплясали по прикатанной дороге.

— Ладно, дьявол с ними, — остерегла она.

С облегчением ткнулся коленями в мешки с зерном, и машина затарахтела. Тут сестра спохватилась:

— Эй, эй, погодите, стойте! Шофер высунулся из кабины.

— Что там еще?

— Ваня, наклонись.

Она приподнялась на носках, зашпилила мой боковой карман булавкой, которую вынула на ходу из кофты, и тут же к шоферу:

— Вы уж с него не берите, он без отца-матери. В училище едет поступать.

Ответом ей был нервный протяжный рык рычага — скорость включилась не сразу.

— Если что — иди к директору, ты сирота, слышишь? — напомнила вослед сестра.

Я махнул рукой, стыдясь такого слова, а она отвернулась, приложила к глазам конец платка. Защекотало и у меня в глазах, сбилось дыхание, но горечь скоро рассеялась. Встречный ветер да круговая пляска придорожных кустов веселили душу. Колеса спотыкались на выбоинах, машина бултыхалась, а наверху удобно, ехал бы так до вечера.

Дорога показалась короче, чем в первый раз, а город совсем своим. Для начала я забежал в училище, прочитал объявление, а потом носился по незнакомым улицам и, если видел что-то неожиданное и интересное, отмечал, что это в мою копилку, будет о чем рассказать дома. Солнце палило слабее, а я ходить легко уже не мог, старые ссохшиеся ботинки Петра натерли ноги. Завернул к Екатерине на стройку, и ее отпустили на полчаса раньше.

Комната в общежитии строителей была чистая и светлая, а оттого казалась мне чужой, неудобной. Три убранные кровати с расшитыми подушками-думочками на больших подушках, над каждой кроватью — фотографии их хозяек. Еще стол, четыре стула и шифоньер, остальное — чистота и пустота, до потолка не дотянешься и со стола. Некуда привалиться спиной, некуда плюхнуться запросто, как дома, и вытянуть ноги после долгих шатаний по асфальту в знойном городе. Первое, о чем я подумал, оглядевшись здесь, — это о ночлеге. Где тут спать? На блескучем покрашенном полу, без защиты от лампочки, от широкого окна, от посторонних глаз?

Стал выискивать место поудобней и, кажется, приглядел, — кладовая, из которой Катя взяла картошку. Когда она ушла на кухню, я приоткрыл створки кладовой и обрадовался скрытому простору. В ней стояли какие-то банки с краской, картонный ящик с картошкой, ведро с луком, висела старая рабочая одежда, она-то как раз и пригодилась бы для постели.

Пока Екатерина готовила ужин, пришли две сожительницы ее. Я первый сказал «здравствуйте», и вышло так, будто был перед ними в чем-то виноват.

— Катин брат? — определила маленькая и быстрая в движениях.

— Двоюродный, — уточнил я.

— Значит, Ваня — мы уже о тебе знаем, — сказала вторая. — Меня зовут Зина, ее — Маша.

— Молодец, стремится к учебе, — похвалила Маша, — а мои трое братьев по четыре класса кончили. Один ушел в ФЗО, двое пока в колхозе. Мать ругала, била, а что толку, раз лень

учиться.

Чувствуя неловкость, хотел выйти из комнаты, но Зина остановила:

— Сиди, сиди, мы сейчас в душ уходим.

Я долго один стоял перед окном, через которое слышались звоны трамваев, протяжные сигналы машин, шуршание колес и другие звуки, составляющие сплошной городской Гул. С третьего этажа на виду вся людская суета. Пытался представить такую же суету в нашей Лужне, и показалось комично — там никто не спешит, никто никого не обгоняет.

Вернулись Зина и Маша, а вослед вкатилась Екатерина с картошкой. Стали обставлять стол: выкладывали помидоры, жамки, кусковой сахар, булки, масло.

Помидоры — роскошь, у нас в Лужне на черноземе они почти ни у кого не вызревали, да за ними и не умели ухаживать. Перед отъездом я сам обрезал их без всякого понятия, так обкорнал, что стояли почти голые.

— Ешь, ешь, Ваня,— подбадривали девчата, и показалось, что заметили за мной что-то постыдное. Я стал брать дольку помидора осторожнее и откусывал от нее два-три раза, а картошку цеплял посмелее, почаще.

— Бань, ты чего экономишь, помидоры еще есть,— подсказала Катя.

— Не хочу, я недавно булку съел,— соврал я, совсем смутившись.

— А он по городу насмотрелся всяких сладостей и сыт,— сказала Маша, и все засмеялись. Я бросил есть, а чтобы выглядело убедительно, запросто попросил чаю.

После ужина поговорили о наших деревенских новостях, о моей будущей специальности. Потом сыграли в карты и стали укладываться спать. Катя начала стелить на полу, но я запротестовал:

— Зачем на полу? Вон, в кладовочке.

— В какой кладовочке? Там? Девчата, вы слышали? В кладовочке малый хочет спать.

Девчата хохотнули в один голос, и я понял, что тут по-настоящему сел в галошу.

В комнате совсем светло от уличных фонарей. Слышались редкие сигналы машин, шаркающие шаги на асфальте под окном, и на душе было беспокойно. Стало страшновато перед высокими лестницами в каменных домах, перед гулом машин и горячим асфальтом, по которому не пойдешь босиком, боязно и самого училища.

Утром я среди первых пришел в училище. Потоптался в коридоре, прислушался к разговорам и понял, что все городские прелести не для меня, как и новая ремесленная форма: на место, оказывается, желали попасть пять человек. Опасения подтвердились, когда в большой толкучке начал обход кабинетов с медицинской карточкой. Врачи проверяли зрение, ухо, горло, нос, в темноте освещали грудную клетку, взвешивали на аккуратных белых весах и растеряли два килограмма из того, что засвидетельствовал кладовщик Зиновеич на весах амбарных.

На третий день увидел свою фамилию в списке тех, кто должен забрать документы. Как расставаться со своей мечтой, которая уже окрепла в моем сознании? Нашел успокоение в том, что я возвращаюсь не куда-нибудь, а в свою деревню, по которой так истосковался за эти дни. Когда же освоился с мыслью о своей неудаче, подумал, каково мне пришлось бы терпеть, попади я в училище на два года.

Себя убедил, и огорчало теперь только одно: как показаться дома? Некстати вспомнились слезы сестры, и ноги сами понесли меня через коридор к кабинету директора. А он вышел навстречу — маленький, с чубиком набочок, в лиловой тенниске с замочком.

— Скажите, а вот как мне быть? Он придержал шаг.

— А что — быть? По поводу чего?

— Меня не приняли, а я сирота. У меня только сестра дома, у ней своя семья.

— Почему не приняли?

— Росту и весу не хватило.

— Значит, мал вырос? Почему же сразу не обратился?

— Думал, обойдусь.

— Вот видишь, сегодня экзамены. А ты что, уезжаешь?

— Уезжаю.

— Как фамилия?

— Иван Селезнев.

— Иван? — загадочно уточнил он, будто в имени и была какая-то заковыка.— Слушай, Ваня, тебе лучше всего подрасти. Побудешь дома годик, и милости просим к нам. Давай до следующего года, а?

На какие-то мгновения директор сбил меня с толку своим просящим тоном. Он пошел вниз по лестнице, а я, обзлившись на себя за слабодушие, мстительно подумал: «Сам-то карандах, а директором».

Когда я отстоял в очереди за документами и вышел во двор, солнце уже выбралось на припек. Самое время купания в нашей Ицке, и ребята теперь всю мутят воду. Зашпилив булавкой карман с документами, я оглянулся на большое здание училища с его неприветливыми колоннами и направился к общежитию Екатерины, чтобы забрать гостинцы.

По пути забрел в первый же гастроном и в который раз глазел на плакаты и афиши. На стене против входа красовался румяный кокетливый дядька с прилизанной челкой и серебристым пробором. Наклонившись с сигаретой к зажженной спичке, он самодовольно и лукаво глядел исподлобья на входящих с призывом: «На сигареты я не сетую, сам курю и вам советую». А в самом магазине, поверх полка, на которых теснились банки, склянки и бутылки, висела афиша, совсем уж непривлекательная в сравнении с улыбающимся курильщиком. На ней топорились многоногий ползун, а ниже заманчивая подпись: «Всем попробовать пора бы, как нежны и вкусны крабы». Но меня интересовал не растопыренный краб, а кефир в бутылках. Попробовать бы, что это за разновидность нашей деревенской простокваши, да стыдно начинать с кефира, когда кругом столько лакомств, которых в деревне не сыщешь.

Купив мороженого и леденцов, я с облегчением зашагал к общежитию Екатерины. Как бы то ни было, а возвращался домой. Не приняли не по моей вине, сестра не должна огорчиться. К тому же я поговорил с директором и получил приглашение приезжать через год.

Вернулся домой перед вечером. Подходя к Лужне, отметил, что выглядит она странно, словно и горка на ее окраине осела, и ракиты пересадили, оголив эту горку, а вот люди здоровались обыденно, будто я был не в городе с двумя ночлегами, а в соседней Ивановке в магазине.

Сестра увидела меня и все поняла.

— Привет от городского жителя,— для бодрости спаясничал я и тут же стал оправдываться: — Там на одно место пять человек, и вон какие дяди.

— Я знала, что это пустая затея. Нам удач не видать.

— Да при чем тут удачи, если росту не хватило?

— А в нашем роду все так: то росту не хватает, то ума. Мы вошли в хату.

— Подумаешь, заведение какое. Будто там на министров учат.

— К директору не ходил?

— Разговаривали.

— Ну?

— Велел подрасти и через год приезжать. Фамилию записал.

— А ты без памяти рад, что велел подрасти. Надо было настаивать. Сказал бы: а кто меня целый год будет кормить? Кто, кроме вас, позаботится? Сел бы в кабинете и не уходил.

— А я в коридоре с ним говорил.

— Ох-х, никакого просвету,— вздохнула сестра.

Тут я вспомнил о помидорах, которые перед отъездом обрезал почти догола. Выбежал на огород, к телефонному столбу, и не поверил глазам: издали, через густую зелень картофельной ботвы, пробивался красный цвет. Сорвал два крупных помидора и скорей назад, в дверях закричал:

— А вот это видали, молокососики?

Племяши с булками в руках, расплескивая молоко в кружках, побежали на огород, а я за

ними, чтобы не погубили. Набрали десятка два, выложили на стол и забыли на время о моей неудаче.

— Надо ж, как вызрели, быть тебе агрономом,— сказала сестра.

ДВА ФУНТА ЛИХА

Начался учебный год, а для меня это был теперь рубеж, за которым осталось беззаботное время,— я уже не ученик и не мог отсиживаться, как мальчик, за спиной взрослых.

Но прошло два дня, а бригадир Трескин по-прежнему обходил наш дом стороной, зная, что Сашура и на час не может оставить своих детей. На третий день она увидела его в окно, выбежала на улицу, и я за ней вослед.

— Тихон Егорович, зайти. Ты что ж нас совсем забыл? Двое сидим-кукуем без дела.

— А он что, закончил курс науки?

— Пока закончил,— опередил я, чтобы не выглядеть ребенком.

— Бон что. А я думал десятилетку... Отаву завтра косить пойдешь?

С ответом я замешкался, и сестра сказала растерянно:

— Да косить-то... знаешь... Может, мне самой куда? Я собрался с духом, выправил унижительную для меня ситуацию:

— Пойду, а почему ж.

— Вот давай готовь, косу.

— Тихон Егорович, постой.— Сестра побежала в сарай, принесла косу.— Погляди, как она... Трескин осмотрел, пощипал двумя пальцами острие, как струну балалайки, и определил:

— Отбивать надо, да и посажена крутовато, ему такая не подойдет.— Вернул косу и на ходу, не оборачиваясь, сказал: — Пусть принесет вечерком.

На следующий день утром я шел с отлаженной и наточенной косой, поглядывал на нее через плечо и наполнялся чувством своей значимости — БОТ оно, мужское настоящее дело, хотя и подумывал, как выдержу до конца. Косить умел хорошо, но знал, что косить в свое удовольствие крапиву и лопухи, когда тебе пожелается,— это одно, а в ряду с мужиками — тут другое. Знал к поговорку: не боги горшки обжигают. Этой поговорке больше всего и верилось.

Пришел на луг Сема Зайцев — досужий и дебелий старик, про которого говорили, что к каждой бочке затычка. Выписывал он всегда газету «Правда», разбирался в политике и мог подолгу говорить про международные дела. За глаза его звали Темой вроде бы за то, что любил темнить, но звали, скорее, для красного словца, по деревенской привычке пристраивать прозвища.

Зайцеву под семьдесят, а старости не поддается. Он сказал:

— Вот с тобой, Ванюш, мы равны по силам. Один стар, другой мал. Будем рядом — кто кого.

«О, старина, с таким настроением далеко не уйдешь»,— подумал я с сочувствием к деду.

Первым встал Трескин. Короткими, без заметного усилия, взмахами сделал закос, стал замахиваться шире, шире, и потянулся рядок, аккуратный и красивый. Косари поочередно выстраивались за ним, и скоро неровное шуршание кос властвовало на луговине. Я встал последним, за Семой. Начал он не спеша, неуверенно, а я за ним по пятам, едва сдерживая свой порыв. Сохраняя интервал, подумал, что в следующий заход пойду впереди него. Звуки то сливаются, то распадаются, обозначив какой-то знакомый ритм, то опять становятся беспорядочными.

И вот замечаю, что интервал между мной и Семой увеличивается. Так не годится, надо догонять. Начинаю махать чаще, руки уже не такие легкие, как вначале. Дед все отдаляется. Его полоска чистая, будто срезает бритвой, а моя то сужается, то расширяется. Кое-где торчат гривы, валяются клочья земли.

Мужики растянулись цепью. Первые уже заходили на новый ряд, и не поймешь теперь, кто последний. Жжиу, жжужф-жжужф! — настойчиво выговаривают косы. Смотрю через плечо —

догоняет Трескин. Широко замахивается, и коса слизывает широкий полукруг травы, сгоняя ее в ровный рядок. У меня такой плотный рядок не получается, скошенная отава рассеивается под косой, разлетается по дедовой полоске.

Шум чьей-то косы слышится совсем близко сзади.

— Пятки, пятки береги,— подгоняет Трескин. Наваливаюсь на ручку всем туловищем.

Правая рука

одеревенела, свело левый бок. Рубаха прилипла к спине, соленые капли лезут в глаза, в рот, а обтереться некогда. Стараюсь полоску делать поуже, а захват побольше. Коса то зарывается носком в землю, то путается в густой отаве. За мной все больше грив, вырванных кусков сырого чернозема.

— Иван, поточим? — кричит бригадир.

Не сознание, а руки мои подчинились этому голосу. Он берет косу. Вскользь оглядев «жалю», ставит конец спереди на рант сапога, достает из-за голенища брусок и давай оглаживать слева и справа. Конец косы заточил, держа его на уровне глаз.

— А теперь жми.

Пока Трескин управлялся со своей косой, я поспешил, чтобы оторваться от него. Совсем уже легче, но гривы все равно остаются. Стал тратить силы на эти позорные космы, чтобы полоска не была такой лохматой. В глазах туман, а так было у меня лишь однажды, когда бежал за нами ивановский мужик из-за того, что гоняли по речке его гусей.

Вот опушка. Взмах, еще взмах, и конец первой моей полоске. Руки опускаются, в глазах рябит. Знаю, что второй ряд без отдыха не осилю в таком напряжении, но возвращаюсь назад, к деду Семе, и занимаю полоску. Не думаю о том, что намного отстал и теперь не догоню, даже если буду косить без отдыха,— полное отупение. Достаяю из кармана брусок и медленно точу косу, пропускаю вперед одного за другим. Так же медленно делаю первый взмах, а впереди их тысяча, впереди густая и нежная отава, на ней полежать бы.

Навстречу идет Трескин.

— Как он, фунт лиха, в цене или задаром? «Фунт лиха? Ну и что? При чем тут цена?» Бригадир остановился впереди, сделал закос в моей полоске и наддал во все плечо. Перед ним по одному встают другие косари, оставляя друг другу по несколько метров, и полоска быстро лысеет. Я дал себе поблажку, стал махать реже, и только теперь сознание просветлело, понял, к чему сказано было о цене. Есть же поговорка: почему фунт лиха!

Расправились с полоской, и — отдых. Косари располагаются поудобней, кладут под бока отаву, достают табак и начинают подковыривать друг друга. Давно заметил, что на конюшне или еще где-то бывают обиды, ругань, а на косьбе эти подковырки никого не тревожат, у всех на лицах одинаковое добродушие.

Трескин говорит Зайцеву:

— Дед, расскажи-ка, как ты женился?

— А-а-а,— махнул Сема, запихивая кисет в карман галифе.— Только копни старое, до вечера хватит.

Другие подхватили:

— А ты покороче.

— Да куда спешить.

— Ну-ка, ну-ка, дед...

Сема помедлил, зализал сигарку. Прикурил от такой же сигарки и выдохнул с сухим сипом в горле. Я наострил слух.

— Это возвращался я с империалистической. Ну, мать-отец знали, что со дня на день должен был заявиться. Еду, рад, живой-невредимый. Правда, газку малость хватил, но это все же не то, что без ноги или без руки. Молодость, Прибыл на станцию, ищу подводу попутную. Известно, первым делом к трактиру топаю. Глядь, выходит оттуда ивановский Серафим Тузиков, царство ему небесное, на базар поросят привозил. Говорит: Сем, а тебя уж неделя как женили. Я рот раскрыл, жду, что дальше будет. А он свое: да-да, Акулину привели в дом, тебя ждут, так что поздравляю.

— С подначкой или всерьез? — уточнили.

— То-то дело, что с подначкой. Ну, поворачивает обратно в трактор, я за ним. Выпили. Он за встречу, я с горя.

Мужики сдержанно засмеялись над таким поворотом.

— Скажу вам без обиняка, не к душе мне была Акулина. Я-то все глазел на Маруську Хадачкову, вы ее знаете. Пока воевал, вышла моя Маруська замуж. С Акулиной-то так, постольку-поскольку, но она в меня втрескалась. А я Маруське был под стать. Лебедь лебедем.

Засмеялись уже свободно.

— Отец Акулины капиталишко имел, ну а уж сама Акуля — не вам мне говорить — горячая в любом деле, бедова смолоду. Ее хотели выдать за одного купчонка, а она ни в какую. Пришла к батьке моему, плачет. Тот и рад случаю, он ее уважал. Оставил у себя. Вот, мол, Семен придет — обвенчаем вас.

— Без меня меня женили,— гыгыкнули мужики.

— Еду домой, соображаю: скандал будет с батей. А Серафим меня по плечу все хлоп да хлоп: Акулину не узнаешь, поправилась, розовая стала. Навострился я на розовую Акулю. Приехал, она по дому убирается, как есть хозяйка. Смотрю, вроде та и уже не та. Круглая стала, пышная, а это как раз в моем вкусе. Что делать? Обвенчались. Вот и живем. Отцу сколько раз спасибо говорил, я за ней что у Христа за пазухой был. А с ее отцом долго не знались. Приехал к нам первый раз, когда уж дети пошли.

— Настырная она у тебя.

— Ну дак,— согласился дед.— А вот представьте, не верится, что мог на другой жениться. Вот оно как. А теперь... Обнимаются месяцами, потом за глотку друг дружку.

— Хочешь сказать, что бог послал, все хорошо,— заметил бригадир.

Дед посипел горлом, ответил:

— Я к тому говорю, что отвечать друг за друга надо, вот в чем вопрос.

Я прилег в сторонке. Так и отдых лучше, и хорошо подумать о чем-нибудь своем. Вытянулся на отаве, пригляделся к светлым облакам. Плывут себе, вольные, бездумные. Они вроде ничто, пустота, но создают видимость разных фигур и наводят на неожиданные мысли. Закроешь глаза, а их очертания еще несколько секунд видятся четко.

«Гы-гы-гы»,— смеются мужики. Скоро их голоса отдалились, стали приглушенными. Я задремал.

Разбудил меня шум кос. На первой полоске держался, как мог, за дедом. После второй пошли на обед, а я косил не спеша, с передыхами. Возвращаясь домой, думал об одном: как же буду косить после обеда? А завтра? Послезавтра?

Среди дня к нам пришел Трескин, обрадовал:

— Иванец, не хочешь покататься?

«Зерно на склад возить»,— предположил я с радостью.

— С Гришей Супоневым придется тебе поработать на комбайне. На копнителе постоишь.

— Можно,— сдержанно согласился я.

— Вот бери вилы и топай. Он на овсяном клину за лесополосой. А покосные запишу тебе, корову кормом не обидим.

Сестра осторожно спросила:

— Тихон Егорович, на косьбе-то получается у него? Трескин снял картуз, хлопнул по коленке, будто выбил пыль.

— По его годам нормально выходит. Подучится еще, Москва не сразу строилась. Чего ж, пятнадцать лет человеку.

— Нету еще пятнадцати.

— Тем боле.

Я подхватил вилы и босиком побежал в поле. Осторожно прошел по стерне, оберегая ноги, и за лесополосой увидел комбайн. Гриша Супонев звякал ключами, что-то подтягивал у самого

руля, под зонтиком. Соскочил на землю, как мазурик, в комбинезоне неопределенного цвета, спросил:

— Не сбежишь?

— Зачем?

— Был тут у меня один. В общем, загорать некогда, поднажмем, пока погода не сломалась. А то видишь, синеет. Это с грозой.

Я сызмальства боялся грозы. Каждое лето то в одной деревне, то в другой убивало грозой скотину или человека, сгорали от нее постройки. Захватит в поле, и гадай, мимо пролетит или в твою макушку.

Гриша полез к штурвалу, сверху объяснил:

— На мостике педаль не работает. Так что залезай в копнитель и равномерно набивай все углы поплотней. Как наполнится, попрыгай в самом заду, и тебя выбросит вместе с соломой. Догоняй и опять на мостик. Обязательно попрыгай, а то туго идет.

Влез я в копнитель, и Супонев дал газ. Загремела, засвистела, заскрежетала десятками металлических голосов машина. Сверху в пыльном тумане посыпалась колючая солома, кусачие остины овсяных усов. Я вжался в передний угол, закрыл лицо руками и смотрел меж пальцев. Солома быстро накапливалась в середине. Вошел в этот поток, вонзил вилы, и пошло: влево, вправо, в передний угол, в задний. Остины сыпались за воротник, в глаза лезла пыль, в горле держалась нестерпимая горечь.

Копнитель почти наполнился, и мое лицо охватило ветерком. Наверху хорошо, а сколько я смогу продержаться в копнителе — неизвестно. Как помог бы сейчас дождь, в нем мое спасение. Шла бы туча сюда хоть с грозой, только бы побыстрее. Нет, безразлична ей моя судьба, кажется, она застыла на месте.

Пора сбрасывать, а солома держится крепко. Начинаю прыгать, как говорил Гриша, но это не помогает, солома накапливается, и уже больше ждать нельзя. Что делать? Свистнуть Супоневу? Назовет слабаком, высмеет. Применил еще один способ, уперся в переднюю стенку копнителя. Солома сдвинулась, подалась. Сначала она слегка осела, потом поползла назад, а я вместе с ней.

В отдалении от комбайна сильный звон в ушах. Побежал вослед, влез на мостик, и все началось снова: духота, пыль, остины. Выползла вторая копна, третья, четвертая. Я перестал считать. Пыль набивается в нос, в волосы. Кажется, в горле она оставалась такой же сыпучей. Много раз я подтягивался на руках, чтобы глотнуть свежего воздуха и посмотреть на горизонт, а проклятая туча держалась на том же месте, будто издевалась надо мной. Не надеясь уже на нее, я умолял судьбу-злодейку, чтобы сломался комбайн: «Сотни винтиков, колесиков, подшипничков, и хоть бы один хрястнул». Долго накликал поломку, а когда устал и от этой надежды, начал ругать себя за то, что вырвался из училища, не сумел убедить директора. Злорадствовал, что тут мне хорошая наука за нерасторопность и колебания. Значит, немало впереди у меня неприятностей из-за такой нетвердости.

Всему приходит конец. Комбайн остановился, мотор затих. Я спрыгнул на стерню и ощутил, что вволю накатался. Подошел Супонев, кивнул на поле:

— А ты молодчина, копенки, как домики, расставил.

— Сами получились.

— Да нет, не сами. Иные старатели растянут их по полю, как кишки.

Приглядевшись ко мне, он удивился:

— Братец, да у тебя ни кожи, ни рожи. Что ж я, дурень, забыл про очки. Завтра напони.

С мыслью о завтрашнем дне я взглянул на табличку: «На мостике не разрешается стоять без очков» — и глупо оправдался, что я-то был не на мостике. На пути к дому прикидывал, сколько километров накрутил за полдня, и так увлекся, что только дома вспомнил о забытых у комбайна вилах.

Ночью разбушевалась гроза. Я проснулся от грохота, молнии шпарили, освещая деревья, стегали по окнам, а торопливый напор дождя глушил эту стихию. Я впервые почувствовал удовлетворение от такой бешеной грозы, потому что с утра комбайн не пойдет косить, будем

ждать, пока овес обсохнет. Значит, рабочий день станет короче.

Засыпал я с мыслью о предстоящем дне. Приснился летчик в шлеме и защитных очках. Он сидел за столом и ел из котелка какую-то кашу, расхваливая ее. Потом снял очки, подал мне со словами: «Ты попробуй, попробуй, с ними можно и без масла».

Проснулся я с ощущением во рту хороою промасленной гречневой каши. Было тихо, а в окнах совсем темно. Слышалось, как редкие капли падали с крыши и шлепали по лопухам. И кто-то неотступно твердил над ухом: «Ты попробуй, попробуй, с ними можно и без масла».

СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Недолго продолжалось спокойствие в нашей семье. Сестра Зина прислала письмо с неприятной вестью: Петро загулял. Ухажерка холостая, родом из Тамбовской области, работает комендантом в общежитии строителей, похаживает с ним в кино. Зина просила быть поосторожней, потому что Петра завтра-послезавтра должны положить в больницу на обследование.

Прочитав вслух, Сашура потрясла письмом у меня перед носом.

— Вот вы какие, мужицкое отродье. Все вы... Только за порог — и жениться. Я знала. Сразу поняла, что завел он там сербиянку. По письмам его поняла, фитюльки стал присылать. Ишь как, и про болезни свои забыл, и про детей. Ну, пускай, пускай. Может, останется калекой, посмотрим, как эта тамбовская от него шарахнется. Будь свидетелем, потом скажешь, как это я сумела угадать...

Сестра говорила твердо, без слез. Я знал, что это она вгорячах такая жестокая, и если желает мужу зла, то только потому, что инвалидом он никому, кроме нее, не будет нужен, поневоле вернется в Лужну. А сойдет зло, поразмыслит она и станет плакать, говорить сыновьям, что без отца они бедные и разнесчастные.

В этот же день сестра узнала, что наши лужнинские везут в Москву яблоки; уже выпал снег, а они, самые мудрые и расчетливые, берегли их до золотого времечка, до настоящей цены.

Сестра пристроилась к ним, потому что одна ехать боялась, да и дорога на машине в оба конца бесплатная.

Я остался один на три-четыре дня с близнецами Пашкой и Сережкой, а это хуже тяжелой работы. С ними не пожелаешь нянчиться и злomu человеку: капризничают, ни в чем не уступают друг другу. Дерутся даже за столом, если едят из одной чашки. Но если вылезет из-за стола один, пропадает аппетит и у другого. Спокойными они бывали только за кашей или за картошкой. Проведу ложкой черту на сковороде, и тогда едят не спеша, каждый на своей стороне, да еще стараются оставить до следующего раза. За такие замашки я называл их «буржуазией» и старался незаметно съесть у каждого излишки.

Сашура всегда заступалась за сыновей, если я ругал их, и отвечала привычной шуткой, целуя то одного, то другого и картавя на их манер: «Дядя, не ругай нас, мы вырастем хорошими ребятами, купим тебе клетчатый костюм и галстук, будешь сидеть у нас на свадьбе на самом первом месте».

Теперь, когда я надолго остался с ними один, Сережка в первой же нашей ссоре пригрозил: «Не купим тебе костюм». Пашка был тихий и сговорчивый, он скоро сдался: «А я куплю». «Подхалимская рожа», — подумал я, но руки сами потянулись к нему, подбросили несколько раз до потолка.

Боялся, что настрадаюсь со своими племяшами, а они стали покорны, как никогда, потому что жаловаться на единственного хозяина в доме было некому, и добровольно называли меня дядей Ваней. Один раз даже отстояли в разных углах и не шелохнулись, пока стрелка ходиков не подошла к намеченному месту.

Вернулась сестра на четвертый день, и будто солнышко засветилось в нашей хате в это тусклое ноябрьское утро. Вынула из сумки подарки отца, надела сыновьям пестрые вязаные кофты, летние фуражки с длинными козырьками от солнца. Выставила на стол пачки печенья, обвешала нарядных ребят связками бубликов, как пулеметными лентами.

— Им теперь зимняя одежда нужна,— напомнил я.

— На зимнюю не заработал, обойдутся пока. А к весне купит. Вот выйдет из больницы...

Она села к столу, взяла сыновей на колени.

— Как вы тут без меня?

— Обижает,— пожаловался Сережка и обругал меня, высунув язык: — Ванька-встанька.

— Ладно, мы его тоже обидим. Главное, живы-здоровы. Суп варили? Голодные не были? Вот за это молодцы. А я так боялась. Думаю, или трубу закроете раньше времени, или еще что натворите. Всякое лезло в голову.

— Что там, в Москве? — перевел я разговор.

— Ох, Москва! Дух захватывает. Какие улицы, дома! А народу... Все так красиво. Я, правда, и была-то на рынке только да проехала на такси до больницы и обратно. Ну и перед отъездом по магазинам пробежали.

— На такси в больницу? — удивился я.

— Да-а, Зиновеич прямо на рынок вызвал,— горделиво сказала она.

— Не поверю, чтоб этот скряга...

— Вызвал. Я ж им хорошо помогнула, до самого обеда втроем торговали. В два часа вызвал такси и говорит шоферу: отвезешь в такую-то больницу и назад привезешь, тут рассчитаю. Ему ж за простой грузовой машины платить. А в четыре часа я уже приехала на рынок. На второй день к полудню все кончили. Прошли по магазинам, метро посмотрели. Ночь ехали.

Она опять принялась рассказывать о метро, о хорошей Зиновеичевой выручке, о том, что научилась торговать, как заправский завмаг, а я все ждал, когда же она про мужа-то, почему была у него так мало и почему сейчас такая спокойная? Не вытерпел:

— Как он там, в больнице?

— Да так. Операцию, наверно, будут делать.

— Резать коленку?

— А резать легче, чем лечить.

— Без операции нельзя?

Она не ответила, вернулась к прежнему рассказу:

— Вот так у хороших хозяев — каждое яблочко за копеечку отдали, все с деньгами приехали. А наши отец с дедом о хозяйстве мало думали, они погулять любили. Сейчас бы машину антоновки нагрузить — мешок денег. Живи и доставай, как из-за пазухи. Горбом такие деньги разве заработаешь?

Я понял, что надо выпроводить за перегородку племяшей, и взял их за руки.

— Идите-ка, сосчитайте свои бублики там, на столе.

— М-м-м,— воспротивился Сережка.

Вывел его силой, и он смирился, но пригрозил:

— Не купим тебе костюм.

Задержавшийся около матери Пашка успокоил меня:

— Купим.— Поглядел на мать и спросил: — Купим ему?

Она засмеялась, закивала, но я аккуратно вывел и его.

— Видела эту тамбовскую комендантшу. Прихожу в больницу, она там. Фуфыру из себя строит, а видно, что Нюшка деревенская, такая ж, как и мы. Пока я осмотрелась, ее как сквозняком выдуло. Он мне: это, мол, прислали по профсоюзной линии проведать. Ладно, думаю, перетерплю. Ругаться на людях не стала, но высказала. Говорю: ты думаешь, нужен ей будешь, как станешь инвалидом? Встретится и не поздоровается. Высказала, а он там теперь как хочет. Больше ни слова не скажу, пусть и лечится, и женится — будем знать, что одни. Хорошо, что поехала, а то голосила б тут, как дура. Он хоть и сам прослезился, да что мне от этого? Пусть живет как знает...

— Вы поругались? — уточнил я.

— А чего ругаться? — Она отвела глаза в сторону.— Я высказала свое, он — свое. Только я все как есть, без хитрости, а он юлил.

— Как же теперь?

— Дело его, навязываться не буду. Вас вон... трое мужиков, как-нибудь прокормите.

Ее спокойный тон испугал меня. Было похоже на то, что она смирилась с потерей мужа, но улавливались в этом тоне заносчивость, прилив напускной разудалости. А может быть, она была так спокойна потому, что видела слезы Петра? Или от уверенности, что тамбовская комендантша теперь оставит его, больного?

...Мне помнился разговор матери с Зиновеичем, бывшим председателем колхоза. Когда сестра собралась замуж, мать пошла к нему посоветоваться. Я тогда учился в первом классе, но частенько еще ходил хвостом за матерью. Вот и увязался с нею, чтобы послушать мудрые рассуждения досужего человека.

Мы стояли посреди хаты, а он сидел ближе к двери на табуретке, спиной к столу, рассуждал: — Вопрос, конечно, щекотливый, с кондачка не решишь,— начал Зиновеич. Еще подумал, забросил ногу за ногу.— Оно, конечно, люди молодые, хворостинка не поможет. Но с другой стороны, прикинь, в какой семье ей придется жить. Бедность — это одно. Сам-то он не из аккуратистов, вдобавок мать хвора, за ней уход нужен. И брат Гаврюха еще, гляди, отыщется, хозяйство располовинит. Без вести пропал — это знаешь... дело двойственное. Нет-нет, я бы не советовал. Девка она видная, еще найдет по себе человека.

— Да, да,— раздельно произнесла мать в раздумье. Она стояла перед Зиновеичем, скрестив руки на животе.— Одна нужда к другой нужде, так оно и пойдет на весь век. Придется ему отказать.

Я вспомнил, как Петро в Ицке поймал щуку почти метровой длины, принес ее нам, и так хотелось сейчас вступиться, сказать матери что-нибудь обиднее в его защиту, да у Зиновеича сделать это не мог, потянул ее за рукав к двери. Она хотела еще что-то уточнить у него, но я уперся изо всех сил, стал подталкивать ее к двери.

— Господи, вот надоел, как горькая редька,— ругнулась мать и переступила к порогу.— Ну, пошли мы, Сергей Зиновеич, тут теперь гадать не приходится.

— Смотри, Анна, потолкуй с Шурой,— талдычил Зиновеич.

— Что ж теперь... Тут толк один. На улице я сказал:

— Знаю, почему отговаривает. Яблоки у него летом оборвали, вот и злится, А Петька там был не один.

Мать направила указательный палец к моей голове, посверлила им макушку, и я удовлетворенно подумал: значит, попал в точку.

Едва вошли в хату, она высказалась:

— Никакой свадьбы, Шур. Не дело это — нужда к нужде.

— Без свадьбы выходи, раз так,— залетел я. Мать в сердцах больно дернула меня за волосы.

— Да ты хоть не лезь, как шгошон какой. Сашура язвительно усмехнулась:

— Хороший совет.

— Не смейся,— строго упредила мать ее вольность. Тут сестра вскинула руку, изобразив дулю:

— Вот ему, твоему Зиновеичу. Пусть не сует свой нос в чужие дела. Советчик выискался.

— Ну-ка, перестань!— прикрикнула мать, и я понял, что будут слезы.

Однако Сашура не растерялась, отвела скандал:

— Думаешь, не знаю, почему он тебе рассоветовал? Привык, что я на него горбячила. Теперь, конечно... Кому охота домработницу потерять.

Мать словно прозрела. Она села на скамью, задумалась и не сказала больше ни слова. Сатура к в самом деле часто помогала Зиновеичу убирать огород, обирала яблоки в саду, вывозила навоз, а весной отливала воду из подвала и вытаскивала картошку,

Теперь, когда у Петра в Москве появилась ухажерка, мне подумалось: а может, и прав Зиновеич? Надеялся я, что все прояснится, но не прояснялось, еще больше запутывалось. Через несколько дней после приезда сестры прислал письмо Петро. Он обвинял Сашуру, что смолоду попал под ее каблук, ничего не понимал в семейной жизни и только она виновата, что нашел себе такую болезнь; если бы не послушал ее и уехал в город еще тогда, после

женитьбы сразу, во-первых, не было бы этих поездок на заготовки леса, где простудился, а, во-вторых, сейчас бы работал где-нибудь в таком лее управлении наладочных работ и уже имел бы свою комнатенку, как другие семейные люди, которые вовремя сориентировались в жизни.

Хотя мы прочитали по одному разу это письмо, сестра, повозмущавшись, подала мне последний, третий листок,

— На-ка, прочитай в конце, как он дерет свой нос высоко.

Я начал вслух:

— «За пять лет ты меня затюкала, я это понял только здесь и только сейчас чувствую себя человеком. Меня ува-жают, со мной считаются. Об одном жалею — о сыновьях, а больше ничего мне не надо из той жизни. Ты приехала, устроила тут представление и теперь довольна. Радуйся, живи как знаешь, мешать тебе не буду. Я проживу как-нибудь, на хлеб себе заработаю, хоть и останусь калекой. Лишь бы руки делали да глаза глядели».

— Вот как вознесся,— подхватила сестра.— Конечно, у меня дети, а у него сербиянка, вольный казак. Чего же так не жить?

Я возразил с напускной строгостью:

— Да хватит тебе, тут в другом смысле сказано.

— В каком же это?

— Калекой останется, а мешать тебе не будет и просить помощи — тоже. Вот в каком смысле.

Она выхватила письмо.

— Ты еще тут будешь меня дурачить. Все вы с одинаковыми замашками, друг другу поддакиваете.

Поутихнув, со слезами стала доказывать, будто оправдываясь передо мной:

— В чем же это я перед ним провинилась? Я что, приворожила его? Ты сам видел, как он ходил к нам. То рыбу принесет, то яблоки. С женитьбой спешил, ты сам видел. Надо было б холостому уезжать и там жениться. Теперь связался с тамбовской, а я во всем виновата. Свидетель бог, сама гнала в город, и вон как все обернулось. Значит, у меня материна судьба, этого я больше всего и боялась. От своей судьбы, видно, не спрячешься, не убежишь.

Так продолжалось день за днем. Иногда сестра начинала ругать себя, что не смогла уберечь семью, где-то что-то проглядела, и жаловалась, как плохо без родителей, не с кем посоветоваться.

Я думал о твердом характере сестры, о том, что она из всех нас самая настойчивая, а пришлось разочароваться. Однажды она сказала:

— Побудь дома, схожу в Ивановку к Поле-Сигаретке. Нынче сон плохой видела, душа болит. Что она мне скажет?

— Святой водички возьми,— съязвил я.

— Надо будет — возьму.

Она ушла, и я заметил, что в рамке с фотографиями нет снимка Петра и, значит, сон тут ни при чем, она пошла ворожить. О Поле в округе нашей разгуливала слава мудрой гадалки, а звали ее Сигареткой за то, что курила, торговала табаком.

Не терпелось мне узнать, что нагадает Сигаретка. Ждал сестру, будто с какими покупками. И когда вернулась, я заторопился, начал по-дурачки:

— Что Сигаретка наобещала?

Ее лицо осветилось стыдливой улыбкой.

— Секрет. Тебе еще рано знать.

— Разгадала сон?

— Разгадала.

— Ну?

— Не нукай, не запряг.

— А взяла святой воды?

— Все, хватит зубоскалить,— оборвала она и нервно сбросила с себя пиджак.

Я понял свой промах: слишком прытко начал. Надо было не спешить, сама рассказала бы. Видел, она довольна гаданием, а кое-что помог узнать услужливый Пашка. Когда вышла, он показал в угол:

— Она вон туда положила бумажку.

Я заглянул за божницу, где стояла икона нашей покойной матери, и увидел там затертый листок. Развернул его, кое-как прочитал чью-то криволапую запись:

«Мать пресвятая богородица по святой земле ходит, Иисуса Христа за ручку водит. Встречаются Иван и Павел. Иван и Павел, не завидуйте моей муке, берите крест в руки, идите по белому свету. Сказывайте старым и малым: кто эту молитву будет знать, не будет ни в огне гореть, ни в воде тонуть».

Дальше приписка почерком сестры:

«Святая богородица, наведи его на светлый разум, дай силушку освободиться от пут нечистой. Пожалей меня в моей муке, не оставляй на произвол анчихристовой судьбы. Буду молиться за тебя вечно, как раба божья».

На другой стороне листа — молитва, но разобрать ее было трудно, да мне хватило и того, что уже прочитал. Положил молитву на место. Когда сестра пришла, Пашка выдал и меня:

— Мам, а Ванька твою бумажку читал.— Он показал пальцем на икону.— Там взял.

— Всю читал? - Да.

— Ну и пусть,— с неожиданным спокойствием сказала она.— Ему полезно такие бумажки почитать.

— Да не читал я, разве там что разберешь,

— Читал, читал,— горделиво разоблачал Пашка.

В эти минуты он показался мне виновником всего земного зла, и я занялся его воспитанием.

— Ты плохой человек. Шептун и наушник.

— Я не шептал,— обидчиво сказал Пашка.

— Нельзя высматривать и ябедничать.

— И тебе?

— И мне. Вот у мамки бумажка — секрет, а ты выдал. Вырастешь предателем и обманщиком. За это наказывают, бьют.

— Ябеда, ябеда!— закричал Сережка, щелкнув его по голове. Пашка заголосил, и на этом мое воспитание кончилось.

Не знаю, как увязала с молитвой сестра этот факт, но Петро первым дал о себе знать. Его письмо было небидным, о старом ни слова. В тот же день сестра написала ему. Ответ получили скоро, переписка наладилась. Но Петро почему-то опять захандрил, высказался, что никому он такой не нужен. Сашура попросила Зину, чтобы сходила к нему да отругала как следует. Письма пропали. Она уже не ругала его, плакала украдкой.

ХОЧУ БЫТЬ АКТИВИСТОМ

Неделя уходила за неделей, а ремесленное училище оставалось по-прежнему моей неостывающей мечтой. Здание с колоннами часто виделось в путаных снах, в моем воображении оно было таким обжитым, что свой дом уже казался чужим и временным углом. Тянуло в город, мечталось хотя бы на минутку зайти в училище, постоять в коридоре, оглядеться и назад. Ради этого готов был поехать в мороз на открытой машине, остаться без обеда, ужина. Если б сказал кто-нибудь тогда, в августе, что буду так тосковать по городу, разве поверил бы?

Зима казалась мне мучительно длинной, хотя выдалась она мягкая, с частыми оттепелями, да и я постоянно был занят, ходил на разные работы. Ждал лета, только лета, когда начнутся самые важные для меня события.

Проталкивал я зимние денечки, торопил время, утешая себя: ну и пусть тянется, больше весу и росту наберу. Казалось, будто я иду в длинной, бесконечной ночи к заветному огоньку, а его все нет и нет. И вот, несмотря на мое нетерпение, все-таки что-то неожиданно сверкнуло

вдали, совсем еще неясное, но ободряющее,— мои однообразные дни на исходе зимы наполнились хлопотами и приятными заботами о таком деле, до которого я сам додуматься не смог бы.

Помогла сестра Зина. Она прислала письмо с надписью на конверте: «Осторожно, фото». Еще в письме была десятирублевка, но до нее ли? Мы несколько минут рассматривали фотокарточку. Зина, сидящая боком, с улыбкой смотрела на нас через плечо, она впервые была с пышной курчавой прической, с белым легким шарфиком и в пиджачке в талию,— как есть горожанка. Я видел в городе фотографии женщин с такой прической на витринах, а над дверью надпись: «Шестимесячная завивка».

— Глупая, глупая, какую косу загубила,— сказала сестра.

— И ты отрезала б, раз мода такая,— с пониманием возразил я.

Стали читать. Зина, как всегда, сообщала о том, что нового на стройке и какие квартиры отделяют они, штукатуры, какие вещи купила себе в последнее время, какие фильмы посмотрела. Вторая половина письма касалась только меня:

«А Ване надо обязательно вступить в комсомол, ему будет больше привилегий в жизни. По себе скажу, у нас кто комсомолец, кто посмелей, умеет сказать получше да выступить на собрании, глядишь, или на курсы какие пошлют, или в бригаду переведут, где заработки получше. Конечно, вы скажете, почему я сама не поступаю? Я бы могла это сделать и со своими четырьмя классами, но опять заставят учиться, да еще общественные нагрузки, а когда мне? То подработать задержишься, хочется одеться получше, то в выходной день наймешься в няньки, чтобы разговеться, надоела эта камса да чай. А там и самой охота отдохнуть, в кино сходить, как всякому культурному человеку. Ване надо обязательно стать комсомольцем. Может, из-за того и в училище не приняли. Раздумывать нечего, высылаю десять рублей на билет и на разные расходы. И еще одна просьба к тебе, Ваня. Ко мне присватался один парень, бывший морячок. Человек он хороший, но мне замуж пока не выходить. Ты напиши мне, вроде бы от какого-нибудь деревенского жениха, подбери почерк подходящий. Составьте письмо, а я буду у вас в долгу. Жду ответа».

— Будешь в комсомол вступать? — спросила сестра.

— Что выдумала Зинуха,— отмахнулся я, проверяя ее настроение.

— А может, и взаправду комсомольцем легче в училище попасть? Наверно, ей кто-нибудь подсказал. Активистов везде уважают.

— Какой я активист?

— Станешь активистом, не век же тухой жить. А то, поди, прочитали твою характеристику и чирк галочку на уголке. Ты там про килограммы да сантиметры думаешь, экзамены сдаешь, а тебя как курицу пометили чернилом: негод.

Встревоженный таким советом, я старался понять, почему это наша тихоня Зина заговорила о комсомоле? Видно, обжилась, окультурилась в городе, А мне было и боязно, и заманчиво, хотя и верилось, что обязательно что-то изменится в моей однообразной жизни, если стану комсомольцем.

— Подавай заявление,— решила за меня сестра.

— Нужны еще рекомендации.

— Я поговорю с Любашей.

— Не лезь не в свое дело, сам поговорю,— обиделся я.

Любаша — комсомольский секретарь в колхозе, а работала кассиром. Она была уважательна, и я верил, что не станет шутить по поводу моего возраста и роста.

— Ладно, ладно, разговаривай сам,— согласилась сестра и напомнила:— А письмо Зине напиши сразу, раз такое дело.

Почерк сестер был похожим, и, если напишет Сашура, морячок может подумать, что Зина написала сама себе. Поэтому-то «женихово» письмо пришлось писать мне. Долго думал над первыми словами, не зная, как начать: или с какой-нибудь расхожей присказки, или просто: «Здравствуй, уважаемая Зина».

— Ну, что ты думаешь? — заглянула сестра через мое плечо.— Давай так: «Здравствуй,

милая Зина».

— При чем тут «милая»? — решительно возразил я.— Тут тебе не страдания: «Моя милка заболела, захотела молока...»

— Тогда пиши: дорогая.

— Ну да, будет тебе в письме человек бросаться такими словами.

— Раз так, напиши просто: «Зиночка».

Это понравилось, я написал, но дальше не шло. Сестра советовала как попроще, а мне хотелось начать с воспоминаний о лете, о соловьях, которые пели над головой в черемухе, о том, как любовались заревом. И тут прорвало.

«Зиночка, после твоего отпуска я не нахожу себе места, все думаю о тебе. Помнишь, как сидели около мазанки вашей, как долго молчали, слушали соловья. Я часто останавливаюсь около вашей мазанки, потому что твое лицо лучше вижу перед глазами...»

Я всю расписался, упомянул зарево, руку на плече, и сестра с этим согласилась, только сделала замечание, что почерк слишком уж школьный, надо переписать, чтоб было неуклюже. Стал переписывать, уродуя буквы, но тут представил, что никто из наших лужнинских женихов таких слов не напишет и морячок еще разоблачит. Вырвал лист, скомкал и написал снова, коротко и зло:

«Эх ты, Зина. Я думал, ты человек надежный, а ты перечеркнула все наше хорошее, связалась с каким-то моряком. Не оправдывайся, я этого не люблю. Слух вышел от ваших. Вот что значит допустить ненадежного человека к городской жизни». Подпись поставил непонятную, верил, что эти слова мог написать любой из наших деревенских; представил, как Зина махнет у моряка перед носом этим письмом и навсегда отвадит от своего общежития.

С Любашей в конторе работали четыре женщины, и я несколько дней не решался показываться там, боялся, что высмеют. Наконец осмелился, и все обошлось хорошо, никто даже не пошутил. Любаша дала мне комсомольский устав, велела ходить в библиотеку и следить в газетах за разными событиями, а рекомендации она обещала взять у ребят сама.

Со мной кончали школу несколько переростков, и мы завидовали троем из них, которых приняли в комсомол, так что я знал, о чем спрашивают во время приема. Брал книжки только о героях-комсомольцах, готовился настойчиво, и время пошло быстрее. Уже выдохлись ручки, стало подсыхать, а Любаша на глаза мне не попадалась. Хотел сходить в контору и уточнить, но все мои намерения зачеркнула сестра. Пришла с работы (они трепали пеньку) и говорит:

— Вань, какие ж мы бестолковые, ждем, когда позовут в комсомол, Встретила Любу, спрашиваю про тебя, а она говорит: сейчас посевная, потом сенокос, уборочная. Теперь до сентября, план приема все равно выполнен. Я говорю: «Люб, как тебе не стыдно, ему ж в училище поступать, скоро уж документы отсылать, а ты резину тянешь». Пообещала в мае все сделать.

Я слушал ее и холодел от мысли, что теперь разоблачен и не только в контору идти — на улице встречаться с конторскими не захочешь, а уж про комсомол надо забыть. Представив смеющиеся издевательские рожи, уточнил:

— И ты все это при людях?

— Да нет... отозвала в сторонку. С глазу на глаз.

— Все ясно, при всех сказанула. У тебя вообще все в порядке?— Закипев, я крутанул пальцем у виска.— Ты меня на позор выставила. Даже если ей одной сказала, как я туда пойду теперь?

— Да что тут особого?— виновато говорила сестра.— Ну, спросила, и что? Что плохого, если ты комсомольцем будешь в училище поступать? Тут каждый поддержит. Я ж ничего другого не говорила.

— Говорила, для тебя все просто.

Я уже перешел на крик со слезами, побежал по хате. Выхватил из ящика свою десятку, с криком: «На, поступай сама!»— швырнул ей и выскочил на улицу. Вослед услышал:

— Ах ты, глумной!

Так оборвалась моя мечта о привилегиях. Теперь я знал: никаких скидок себе. Только свой ум, свои сантиметры и килограммы.

МОЙ БАРАНИЙ ВЕС

Отшумела половодьем и холодными дождями, забушевала зеленью весна. В ясные дни стало светло и вольно кругом, а вдалеке на камаринском большаке опять стали маячить три дуба, как три равные запятые. Теперь до августа было рукой подать, я со дня на день ждал объявления в областной газете о наборе в ремесленное училище. Шел май, я часто бегал в сельсоветскую библиотеку посмотреть подшивку газет, а объявления не находил. Пытался узнать, что там случилось, не закрывают ли училище, но никто ничего объяснить не мог. Тяготился ожиданием, как страдают от головной боли.

— Поеду-ка в ремеслуху, все там разужнаю,— сказал сестре.— Теперь объявления не будет. Что объявлять, если такой наплыв.

— Нечего деньги катать зря, впереди два месяца, не егози,— отрезала она.

Довод был неоспоримый, но отступить так просто не хотелось, и я возложил на нее всю ответственность за свою судьбу:

— Как хочешь, тебе видней.

— Кого-нибудь попросим — узнают, скажут,— смягчилась она.

— Проси, дело твое.

В один из последних дней мая я проходил мимо амбара и увидел в открытую дверь, что кладовщик Зиновеич перебирает мешки. Завернул к нему узнать, как теперь у меня с весом. Поздоровался, но он даже не кивнул.

— Дядь Сереж, взвеситься можно?

Он сделал рукой предупредительный жест и продолжал свое дело. Наконец свел концы с концами, пометил что-то в перегнутой тетрадке и дал отмашку:

— Становись. Сколько тебе надо?

— Килограммов пятьдесят пять хватило бы.

— Сделаем.

Зиновеич поставил пятисотграммовку на отвес, а противовес погнал толчками от середины з сторону нуля, но гирька так и не потянула. Сделал набор гирек на четыреста граммов, погнал противовес от нуля и тут же перестарался.

— Да у тебя только сорок восемь, бараний вес.

— Как? В прошлом году на этих весах сорок девять было.

— Смотри сам.

— Почему сорок восемь?— возмутился я, будто он обвесил, присвоил себе эти килограммы,— В училище почти пятьдесят было еще в том году. У голого.

— У меня все как в аптеке.

— С этой аптекой за растрату хлеба будете отдуваться,— уколол я его, но тут же и опомнился, понял, что растраты у Зиновеича не будет, ошибается только в одну сторону.

Он качнул станину весов.

— Все в норме, я на этой неделе регулировал. А тебе какая разница? Сколько есть — все твое. Говорят же: мал золотник, да дорог. Вот заладил про училище. Думаешь, на заводе мед? У нас тут своя вакансия наклеивается, дед Веня собрался из пастухов уходить. Шел бы на его место, с хлебушком будешь вот так.

Он черкнул ладонью по горлу, а меня обидела его навязчивость. С семилеткой — ив пастухи?

— Подработаешь хорошо,— продолжал Зиновеич.— Ему-то платы никакой не будет за это время, вот ты, считай, с апреля на службе. Вникни.

Поняв, что кладовщик подсмеивается надо мной, дескать, нигде не сумел применить свое образование,— я дал сдачи:

— Пошлите своих, если там заработки хорошие.

— Ишь ты, ерш. Я б на твоём месте сам напросился. Дом без хозяина, такая работа как раз по тебе. В пастухах вес и рост не спрашивают. Тоже мне, ремесленник.

Это был больной укол, и я возмутился:

— Вы б шли в колхоз по нарядам, а то все с карандашиком за ухом.

— Ох, какой ерш нашелся, какой гонор,— прогневился Зиноевич.— Еще молоко на губах, а уже грамотеем себя почувствовал. Твои семь классов моим трем в подметки не годятся. В задачках мешки и килограммы складываешь, а уже возомнил себя. К стаду надо тебя для прояснения ума...

Я пошел прочь, и его крик глухо отдавался в амбарном чреве, будто там орали в один голос несколько человек.

— Горлопан, привык глотничать, — приговаривал я, Дома рассказал сестре, как поскандалил с Зиновеичем,— все равно ведь узнает. Она испугалась, стала выговаривать:

— Ваня, Ваня, все у тебя получается, как в сказке про Иванушку, попадаешь в разные истории. Обязательно надо было тебе цепляться к каждому слову. Неужели нельзя было помолчать?

— Почему это молчать? Если он богатый, то ему все можно? Плевал я на его богатство. Все равны, поняла? Революция буржуев разогнала, а этот остался, недобитый.

— Он мужик хозяйственный, к нему приходится обращаться. С какими глазами после этого его просить?

— На такси тебя катал. Конечно, хорош.

— Замолчи.

— Не замолчу.

— Тьфу.— Она по-настоящему плюнула в мою сторону.— Дубина неотесанная. Нахамит, а мне извиняться. Доучился.

— Попробуй только извинись, вообще всего оскорблю.

— Я вот узнаю, что ему наговорил, я расспрошу. Не обижайся, если волосы повыдергаю.

Тут я засомневался: а может, она права и надо было уступить? Я знал свой самолюбивый характер, страдал из-за своей настырности, никому не мог признаться в своей слабости. Не один раз намеревался сказать матери, что часто кружится голова, в висках стучит, как от угара, и надо сходить в больницу, но все откладывал, чего-то стыдясь. Как-то выстругивал палку и обрезал палец. Потемнело в глазах, в голове зашумело, и с трудом добрался до лежанки, покрылся потом. Когда пришел в себя, надо мною склонилась мать:

— Сынок, да что с тобой? Чуть оцарапал — ив обморок. Надо тебя в больницу, проверить.

— Нет, нет, никакого обморока. Это так, голова заболела.

Я боялся унижения, ненавидел тех, кто возносится над другими, не любил и тех, кто позволяет себя унижать. Помнилось, как мать гнала самогонку, чтобы упросить мужиков на какое-нибудь дело в хозяйстве, хотя многие были хорошими друзьями отцу, как незадолго до своей смерти она вошла к Зиновеичу домой (он года три работал председателем колхоза) просить лошадь, чтобы съездить в больницу. Получив отказ, на моих глазах упала перед ним на колени, залилась слезами, и только после этого он согласился дать лошадь.

При мысли о матери у меня сжались кулаки и уже не было никакого сомнения в своей правоте — пусть Зиновеич знает, что и других гордость не обошла стороной. Сестра уже говорила о другом, а мне все виделась рыдающая мать на коленях, Зиновеичевы сапоги перед ней, слышался его голос: «Что ты, Анна, встань, придумаем что-нибудь» — и голос матери: «Сергей Зиновеевич, уважь. Может, последний раз на этом свете». Если бы он отказал или пообещал дать лошадь через день-два, было бы легче, но ведь он тут же надумал уважить.

Стало горько за мать. С тех пор я болезненно переносил унижения. Казалось, что любая уступка может направить мою судьбу по рабскому пути.

НАСМЕШКА СУДЬБЫ

Этот июньский день оборвал надежду, с которой мне хорошо жилось всю осень, зиму и весну.

Дождавшись почтальонку, я остановил ее, попросил областную газету и на задней странице увидел долгожданное объявление. Специальность токаря была обозначена. Конец неизвестности. Теперь дело за документами и надо решить, везти их или отсылать почтой. Я надеялся убедить сестру, что лучше передать их из рук в руки, а заодно поговорить с директором училища, да и вообще, хорошо бы полдня побыть в городе, обновить впечатления. Город уже постоянно влек меня своим разнообразием, и потому в родной деревне стало совсем тоскливо.

Вечером, едва я успел сказать сестре про объявление, пришел бригадир Трескин. Пошутил с ребятами, сунул им по конфете и выпроводил на улицу.

— Александра, ты в курсе дела, что Веня закончил службу?

Я понял, по мою душу пришел. Значит, работа Зиновеича.

— Слыхала. А уже точно? Не вернется?

— Попрощался. Эти дни все надеялся на старуху свою, думал, оклемается. А теперь, видать, безнадежно слегла. Дом не на кого оставить.

— Жалко, привыкли к нему,— посожалела Сашура.

— То-то и оно, дельный был пастух.

— А Гришка-подпасок?

— А Гришка — тоже, без деда не захотел оставаться. Сестра, конечно, понимала, к чему клонит Трескин, но

вперед не заскакивала. У меня только одна мысль: не поддалась бы она, не соблазнилась бы на хлебный заработок, а уж я как-нибудь сам отобьюсь.

Трескин выдержал паузу и сказал, как приговорил:

— Так что пусть завтра выходит. Напарник у него хороший, Ленка Кулагин из Ивановки, Настюхин мальчик.

— Лента,— ехидно и разборчиво выговорил я прозвище Ленки Кулагина.

— Вот это не знаю, как он у вас там зовется — Лента или Ленда? Знаю, что не лентяй. Ивановские хорошо отзываются, он в прошлом году у них пастушил.

— Игнат не его ли прогнал из подпасков?— уточнила сестра.— Говорили, насмешник какой-то, за эти насмешки и прогнал.

— Горе, а не насмешник. Веселый человек — это скорей всего подходит, я-то с ним вчера разговаривал. Игнат сам бирюк, ну его к чертям.

Мне неприятен стал бригадир за то, что послушал Зиновеича и поставил меня, человека с семилетним образованием, рядом с чудаком Лентой, рядом со словом «пастух», и прошлая обида за его налет у скирда опять ворохнулась. Не рано ли простил его?

— Решай, Александра,— нажимал Трескин.

— Погоди, Тихон Егорович, я еще не знаю, как лучше,— слабо возразила сестра, и я понял, что она сдается.

— А чего тут знать? Где он еще столько заработает? И горб не сломает, и с хлебушком будете.

— Зарботок — это одно, а мне-то как с ребятами, кого с ними оставлю?

— По возможности на работу сходишь, а нет — дома будешь. Прокормит, эта профессия серьезная и хлебная.

Сашуру устраивало такое рассуждение, но она еще не соглашалась. Или растерялась перед неожиданной находкой, или не хотела показаться обрадованной.

— Не знаю, он в ремесленное собирается.

— Не велика честь — в ремесленное, железяками греметь. Тут как раз по нем ремесло, самое хлебное.

— В ремеслуху буду поступать,— отрубил я. Трескин расположился на скамье, и стало ясно, что все

только начинается.

— Голова ты садовая, я тебе разве зла желаю. Посмотри вон на этих граждан.— Он торкнул пальцем в окно — там играли Пашка и Сережка.— Их кормить надо? Она одна вас нешто обработает? Да еще сам там сидит на птичьих правах, вот-вот прикатит на ваши хлеба. Так или нет?

Последний вопрос был обращен к сестре, и она тихо сказала, явно принимая сторону бригадира:

— Да, операцию скоро должны сделать, теперь он не работник.

— Вот про что и разговор. Уперся, как молодой козел. Он внимательно посмотрел на меня, но я твердо верил,

что не сдамся. И повторил:

— Все равно в ремесленное пойду.

Он это будто и не слышал, говорил так же нравоучительно:

— Где ж она одна вас прокормит — малых да хилых. В твоём возрасте нужно уже хозяйски в этом разбираться. Я в десять лет, между прочим, за плугом ходил и стерег лет пять подряд. А вы заучились.

Я стоял, как приклеенный к полу, уставившись в одну точку, было обидно, стыдно и возмутительно. Кажется, на меня навешали столько груза, что ни пошевелиться, ни вздохнуть свободно. Горело лицо, мысли плясали, насакивали одна на другую. Я искал в своей памяти слова самые нужные, чтобы достойно ответить Трескину, но был будто околдован. Перед глазами мелькали объявление в газете, здание ремесленного училища, Лента Кулагин, наш выгон за деревней, без которого нельзя себя представить пастухом. В горле пересохло, копилась обида на сестру: как это она быстро сдалась? И если верить поговорке о пастухах «нанялся — продался», то она и продала меня.

Бригадир встал, напомнил:

— Ну, готовься, завтра первый раз на росу гоним. Тебе повезло, зарей полубуешься. А по поводу оплаты на выгоне обговорим. Думаю, Гришкина доля вас обоих устроит — по пятнадцать пудов. И картошки столько же. А в ремесленное через годик, если не передумаешь. На частных харчах у тебя во ряшка какая будет.

Трескин округлил руками лицо и вышел, а мне было непонятно, как это можно вот так, на ходу решить судьбу человека. Чтобы окончательно узнать мнение сестры, сказал:

— Нашел дурее других.

— Может, постерег бы?— отозвалась она.— Что страшного? Другие годами стерегут.

— Значит, училище выбросить из головы?

— Почему? До августа только, а там Петя должен выписаться из больницы. Ты — в училище, он — на твое место. Вот и весь заработок наш. Где ж я одна прокормлю пятерых своими трудоднями?

Спорить с этим было бессмысленно, но я еще цеплялся, искал крючки.

— А почему по пятнадцать пудов? Вене тридцать давали.

— Веня ответственный, знал свое дело.

— Мы тоже за каждую корову будем отвечать.

— Куда уж там, ответчики.

— Ответчики.

Я бросал вызов, чтобы высказаться до конца, расплакаться, но сестра голос не повысила, говорила спокойно:

— Апрель — май позади. И со своих харчей долой. Что вам еще надо?

— Мне ничего не надо.

— Вот так бы сразу и сказал, что ты в своем доме посторонний и живешь только для своего удовольствия,— подловила она на слове.

Я еще пытался сопротивляться, возмущался и несправедливостью в оплате, и тем, что нашли мне в напарники Леника Кулагина, которого даже в глаза звали Лентой, но приговор был уже вынесен, и пришлось смириться с этим поворотом судьбы.

...Кулагин пошел в школу со мной и запомнился с первых дней. На одном уроке, когда учительница начала читать сказку про репку, вдоль стены пробежала мышь и в растерянности заметалась под партами. Класс расшумелся, иные соскочили с мест, стали гоняться за ней. До сказки ли тут? А учительница застучала по столу и строго потребовала:

— Сейчас же прекратите гвалт. Сядьте и успокойтесь. Это подействовало, все сели, и она добавила совсем уж

по-доброму, спокойно:

— Вот невидаль — мышь. Слушайте дальше, тут как раз и говорится про такую мышку.

Когда учительница продолжила сказку, я скосил глаза к стене. Мышь лежала вверх лапками и дергалась, а Лента отталкивал ее от себя босой ногой.

После звонка все бросились смотреть убитую мышь. Подошла и учительница, спросила:

— Это ты, Кулагин?

— А он хлеб жрет.

— Мышь не он, а она. И хлеб все любят.

— Она вред приносит.

— А ты?

— И я.

Учительница, наверное, решила, что он не понял или оговорился, и повторила:

— Ты вред не приносишь?

— Приношу,— покорно согласился с ее намеком Лента.

— Что за страсть: непременно убить, растоптать. Сейчас же выброси.

Кулагин двумя пальцами взял мышь за хвост и понес, а мы за ним с шумом и ликованием. За углом школы он оглянулся — не вышла ли учительница, швырнул хвостатую в кусты сирени со словами:

— Обойдутся дед с бабкой без мыша. Брехня это.

В школе Кулагина считали комиком. Лицо у него в белесом пуху и в морщинах, а все это, наверное, от того, что гримасничал. Учился он плохо, из двоек не вылезал, покуривал. В каждом классе отсиживал по два года. Я был в шестом, а он ходил в третий; в четвертый так и не ступил ногой. Один год он нанялся пасти стадо в своей Ивановке за мизерную плату — десять пудов хлеба, но так и не стал кормильцем семьи (у матери их пятеро) — старшой, дед Игнат, прогнал его за подковырки и насмешки...

И вот судьба свела меня с Кулагиным. Кого же из нас назначат старшим? Меня старшинство совсем не интересовало, я стыдился звания пастуха, но оказаться в подчинении у Кулагина — двойное унижение. В такой переплет попал я, согласившись на это хлебное ремесло.

ДИВНОЕ УТРО

Ночь была для меня будто прощальной, последней в жизни. Спал плохо, отлеживал бока и никак не мог выбрать удобного положения. Мельтешили сценки предстоящего дня: мучительный подъем вместе с солнцем, чужой обед и ужин, а это напоминало странников-побирушек. Терзал стыд перед ровесниками, особенно перед Ниной Паршиной, моей одноклассницей, которой с каких-то пор стал словно подотчетен по непонятной добровольной обязанности. Думая о ней, я всегда придирался к себе за каждую мелочь, находил грешки, а избавиться от них не мог. Пытался выйти из этой зависимости, готов был вернуть себя на год-два назад, когда все девчонки были равны, а я чувствовал себя среди них свободным,— и увязал еще больше, как буксующая машина в трясинном месте.

При мысли о Нине Паршиной я возненавидел себя за свою немощ. Думалось, пропаду я в жизни с таким характером. Как началось все непутево, с сиротства, так теперь оно и пойдет цепляться одно за другое. В ремеслухе провалился — не постоял за себя, из ремеслухи угодил в пастухи — тоже без сопротивления, а дальше опускаться уж некуда. Осталось порвать свидетельство об окончании семилетки, забыть все, чему учили там,— электричество, существование Северной и Южной Америки, Ломоносова, чеховский рассказ

«Унтер Пришибеев» и все остальное. Закрепиться в почетном звании да наниматься в деревнях в пастухи, подбирать себе напарников, которые об унтере с колючим лицом и не слышали, просвещать их и тем гордиться. А может, послать сестру к Поле-Сигаретке погадать, поинтересоваться, что она мне предскажет?

Вволю наиздевавшись над собой, я дал слово переломить свой характер. Только непонятно было, с чего начать, ведь характер-то мой горделивый, не скажешь, что я рохля, унижить себя на людях никому не позволю. Но вот не могу проявить настойчивости, когда решают мою судьбу. Странное сочетание в одном человеке. Или так бывает у каждого?

Определил дело так: побуду в пастухах неделю-другую, раз уж согласился, подберу подходящий случай и брошу.

В окнах посветлело, я задремал. Вскочил от легкого скрипа, это сестра вернулась с улицы.

— Стадо гонят, корову я выпустила.

Еще не осознав всю ответственность, свалившуюся на мою головушку, я натянул резиновые сапоги, набросил старый пиджак и выбежал из хаты. Было тихо и сыро, солнце только-только показалось.

— Хоть бы палку какую взял, что ж ты за пастух такой,— подсказала Сашура.

А я старался всем своим видом показать» что в пастушеском деле временный — слишком расточительно будет с таким образованием болтаться около стада.

В утренней полудреме из-за деревьев доносились голоса женщин, понукающих коров. Среди них выделялся бас Семы Зайцева: «Эй, аделы, куда вас леший поволок?» «Аделами» дед звал своих коз, тощих и настырных. Они даже по деревенской улице пройти спокойно не могли, все лезли по кустам у палисадников, прыгали через ров, который ограждал от скотины свекольное поле.

На дороге я дождался стадо. За коровами шли несколько женщин, а с ними Сема и Лента — дымили сигарками. На них закричал Сема:

— Дамы, погодите вертаться, давайте уж все до конца дойдем. По части оплаты все-таки решить надо. Чтоб без охов и ахов.

— А что решать? По пятнадцать — значит, по пятнадцать,

— Это одна точка зрения. А так, глядишь, по-другому надумают, дело-то общественное.

Меня озарило надеждой: а вдруг и взаправду кто заспорит, чтобы уменьшить плату? Тогда смело можно откреститься от стада. Но эта надежда угасла, потому что у женщин была забота более серьезная.

— Ты, дед, насчет быка похлопотал бы. Гулять коровы начнут — придется по деревням водить на веревке.

— Ваша правда,— сказал дед Сема.— Общее — значит, ничье. С весны ж, помню, был разговор.

— Был да сплыл. Ходили уже, а председатель против. Сходи сам, мы уж магарыч тебе...

— Ладно, дамы, подвернется свободная подвода на часок — мотнусь в Ивановку. Думаю, столкнусь с председателем.

Все остановились, считая дело хорошо обговоренным. Дед пригляделся к нам, зашумел:

— Ох, пастухи, мать вашу за ногу. Ни кнута, ни палки в руках. Интеллигенция...

— Косой заяц нанес яиц,— обругал его Лента себе под нос.

— Возьмите хоть эту, а то коза забодает. Щеголя. Сема кинул нам вдогонку ивовую хворостину. Чтобы не гневить деда, Лента послушно вернулся, взял хворостину и бросил на него почтительный взгляд, но побаску dokonчил:

— Вывел детей, косых чертей.— А всегд уж громко сказал:— Спасибо, дедуш.

— Пригоните в лес — по палке вырежьте.

— А ты, Тема, дал нам ножик?— бормотал Лента. — На Лысине не крутитесь долго, слышите?

— На твоей, да? — И опять громко, уважительно: — Не будем, дедуш.

Лента шел в большом выгоревшем картузе, в затертой фуфайке с выпирающей кое-где серой ватой, в женских сапогах с блеском и выглядел как взаправдашний комик, которому одежду

и обувь подобрали на потеху.

Стадо прибавлялось, заполняло широкую дорогу. Женщины выгоняли коров, поздравляли нас с новой работой. Лента говорил им на это спасибо, а я держался ближе к рву, подальше от них. Казалось, что собираюсь стеречь тайно и меня то и дело разоблачали. Вертелась в уме одна мысль: «Доучился до пастуха». В приливе отчаяния я даже пожалел о том, что зря потерял в школе половину своей жизни, стеречь можно и неученому, зато было бы на душе сейчас спокойнее.

Козы опять полезли через ров к колхозной свекле.

— Вот скотиняка,— возмутился Лента.— Для этих тварей нужно брать еще одного пастуха. Я их знаю, все нервы вымотают. Пока не поздно, надо избавляться. Пускай Сема сам стережет.

— Если б это было по выбору.

— А почему он выгоняет своих коз с коровами? У нас в Ивановке козы ходят вместе с телятами и овцами.

Тут и меня он сбил с толку. В самом деле, кем считать козу: коровой или овцой? Платит-то Сема за них как за овец...

Ка окраине Лужны стадо разошлось по выгону. Это вытопанная скотом и птицей площадь в Сечином логу, где по весне мы рано начинали играть в лапту. Выгон как ступенька на его склоне, тут отдыхают лошади, поднимаясь с грузом на горку. Еще ниже — ручей, местами заросший татарником, крапивой и разной болотной травой. Другая сторона лога крутая, наверху с ровной площадкой, окаймленной опушкой, за ней хлебное поле, всегда выбитое у краев гусями. Площадка — удобное стойло для коров после росной пастьбы и обеденной дойки, ее называют Лысиной.

Внизу Сечин лог выходит на простор заливного луга, где травы всегда заказывают на сено, а вверху он соединяется с единственным лужнинским лесочком Сечиным. За лесом этим — небольшой выпас, называемый Брудовым садом. Его, наверное, тоже заказали бы, как и лесную луговину, да нет другого подходящего выпаса.

Под горкой коровы почувствовали волю. Замедлив ход, опустили морды к куцей траве, седой от росы, захрустели вразнобой, и этот сплошной хруст время от времени перехватывали глубокие вздохи. А козы Семы Зайцева остановились и долго смотрели в нашу сторону, на ракитовые кусты, которые и без того были обглоданы. Потом козел Коля повел свою семейку в обход, но Лента звонко похлопал хворостиной по траве, пригрозил:

— Я тебе полезу, охламон бородатый.

Козел остановился и повернул к коровам, с которыми у него было мало общих интересов.

На выгоне пастухи задерживаются, чтобы опоздавшие хозяева не гнались за стадом до Брудова сада. Я посчитал — не было одной, коровы тетки Семерихи. Она, тетка, легкая на ногу, не ходит, а семенит — по-лужнински, семерит. Отсюда и прозвище такое.

Подождали. Глядь, комолая Любка выбегает из-за поворота, загребая влажную пыль,— черная с белыми пятнами коровенка. У нее будто и костей не было, такая она сытая и гибкая. Вышла из-за поворота и Семериха, пригрозила веткой:

— Ну, выдра безрогая, приди ты домой. Я т-тебе пошастаю.

Любка перешла на шаг, и мы увидели у нее тряпку. Она любила жевать, хватала тряпки, паклю, бумагу. Увидит около дома какой-нибудь клок, юркнет в прогон, сорвет его и скорей назад, в середину стада, чтоб не достали кнутом или палкой. Захочет вскочить на колхозную свеклу или к кому на огород — не удержишь, Семерика давно заменила бы ее, негодницу, но такой молочницы не было во всей Лужне.

Не любили комолую в деревне за ее нахальство, так и норовили при случае отстегать, Но Любка удачливо избегала побоев. Подождет хвост, изогнется и рванет быстрым семенящим бегом. Если настигнут, побежит вприпрыжку, бросится на колья, на проволоку, а от палки уйдет.

Любка подстраховалась, обошла нас стороной. Тряпка выпала, и мы увидели, что это рукав старой рубахи. Я сказал Ленте о ее причудах, и он восхитился:

— Первый раз такую вижу. Люблю с фокусами. Подошла Семериха, пожаловалась:
— Вот вражья душа, на глазах стянула. Такая проныра, так заражена жвачкой — нет спасу. Вы уж приглядывайте, не обижайте ее, проказницу.

— А чего нам ее обижать?

— Не вы, так другие. Долго ли испортить корову? Жалко ее, на молоко умница и на жратву непривередлива. Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить.

— Никто не тронет,— заверил Лента, и Семериха, удовлетворенная, подалась домой.

Пока коровы продвигались в сторону Сечина леса, мы стояли под ракетами. Отсюда хороший обзор местности. Видны четыре деревушки: одна на этой стороне балки, три — на противоположной, за Ицкой. Полуголая Ивановка с десятком деревьев на ближнем краю — вот она, совсем рядом, даже слетевшие с насеста куры приметны около домов, Над речкой волглый туманец, а бледный солнечный свет уже охватил Ивановку. Ей доставалось и от ветра, и от жаркого солнца.

Слышались побудки петухов. За речкой покрякивал коростель, а где-то поблизости робко пробовал голос ранний жаворонок. У ручья в крапиве безответно чвикала какая-то пичуга, настраивала себя на погожий денек. Дивно вокруг. Казалось, что вся эта благодать копилась много дней и вот открылась впервые, чтобы удивить нас. Не хотелось верить, что так бывает после каждой ночи.

Коровы приближались к заказанной части лога, и пора было их перегонять через ручей на Лысину, а там по горке к лесу. Лента вспомнил о палке, полез на разлатую ракету. Сверху подмигнул:

— Надо уважить дедушку Тему.

Скрутил кое-как молодой побег, там же, в расщелине ракиты, обломал сучья, сбросил хлыст метра три длиной. Спрыгнул, и мы пошли, покрякивая на коров. Задние подтянулись, а передние сами взяли нужное направление через ручей на другой склон, в обход заказанной луговины. Нужно было вывести стадо по краю Сечина леса вверх, к Брудову саду. Это самое высокое место в нашем колхозе. Перед первой мировой войной помещик Медведев приглядел плодородный клин в отдаленном углу своей вотчины, у лесочка Сечина. Поставил дом, пригласил приказчиком пожилого родственника Власа и велел раскорчевать на этом клину реденькие кусты орешника да мелкий осинник. Влас обозначил участок сада и выгон для скота, посадил яблони, вишни, груши, стал очищать от кустарника прилегающее поле со стороны Лужны. Старухи рассказывали, как ходили девки развернутым порядком по этому полю, собирали мелкие сучья. Влас разъезжал на лошади и предупреждал: «Мелочь, мелочь не трогайте, это настоящий «брот», хлеб для земли, а стало быть, к для нас»,— он иногда выражался по-немецки. А народу только попади на язык, тут же и окрестили его немецким словом по звучанию: Бруд. Так все поместье стало называться Брудовым.

От строения и фруктовых посадок никакого следочка. Только обглоданные, куцые вишневые кусты да заросшее крапивой какое-то углубление (наверное, был подвал) напоминали, что здесь когда-то жили люди. В правлении колхоза давно поговаривали вырубить кусты и распахать Брудов сад, чтобы тракторам не было никаких помех на поле, но лужин-цы пока отстаивали эту площадь, потому что без нее скоту придется крутиться на вытопанных местах.

Коровы вольно разбрелись по освещенному солнцем Брудову саду, а мы зашли от опушки леса и теперь беззаботно могли постоять на легком пригреве. Мы и отдаленно не напоминали своим видом пастухов, словно случайно подменили деда Вето и Гришку. Вот уж Веня всем пастухам пастух. Высокие яловые сапоги, жирно смазанные солидолом, парусиновый армяк-накидка для всех непогод, толстенный кнут, бухающий как винтовка, и потрясучий с сипом голос, который уважительно почитали даже самые настырные коровы. Был и рожок, но стадо собираться по нему не приучили. С рожком дурачился Гришка, оглашая местность звуком, похожим на трубный крик болотной выпы.

Лес был полон окрепших голосов. Где-то совсем близко захлебывался соловей. Пока стояли молча, мне пришла в голову мысль, даже Ленту дернул за рукав:

— А давай-ка сходим к Вене, поговорим насчет кнута. Может, продаст?

— Подарит с надписью: моим любимым заместителям от деда Космодея,— недовольно отозвался Лента.

— Наберем, сколько положено, и купим.

Лента почему-то удержался от ехидства, сказал:

— Кнут не к спеху, надо «мозжить» матери про фуфайку. И про балалайку, старая совсем расклеилась.

— Балалайка — развлечение, а кнут для дела. Видишь, козел полез к кустам. Стрельнуть бы разок...

— Я его проучу и без кнута, вот этой.— Порываясь идти, Лента потряс изгибающейся хворостиной.— До вечера будет как шелковый. А завтра еще добавить можно.

Чтобы опередить его, я побежал к козам, которые скрылись в кустах. Выгнал их и, осторожно ступая по мокрой траве, лавируя между ветвей, пошел к высокому ореховому кусту, где заливался соловей. Подобрался к нему совсем близко, затих. Приятно сидеть рядом с гармонистом, а тут такой певун над самой головой. Он не насторожился, не убавил пылу. Насвистывал увлеченно, содрогаясь и закрывая глаза. Неказистая птичка, перед ней синица — красавица.

Соловей почувствовал постороннего, улетел, а скоро подал голос из другой части леса. Я вышел на поляну и увидел удивительное зрелище: ореховые кусты, освещенные солнцем, играли, переливались каплями, будто были осыпаны блестками. Тряхнул несколько веток, и на меня шуманул пронзительный дождь. «Куст заденешь плечом, на лицо тебе вдруг с листьев брызнет роса серебристая»,— завертелось в сознании.

Выйдя из кустов, увидел, что Лента направляется к прогалку, где поляна соединяется с заказанной луговинкой, к ней подбиралась наша корова Лыска.

— Лень, пусть пощипет, это наша,— предупредил я.

— Нечего поважаться, закон для всех один,— отозвался он и крикнул на Лыску, прихлопнул хворостиной.

— Ты свою турнул бы?

— На свою помолился б, как богу. Понял?

Я понимал, что Лента прав, но с обидой ушел от него к самому возвышенному краю сада, где мокрая трава хорошо прогрелась. Снял сапоги, портянки, раскинул фуфайку и лег на спину. Небо чистое, будто и все звезды, и клочья облаков размели, отогнали за горизонт для такого денька. Прикинул, когда оно, медленное солнце, по-черепашьи проползет по небосводу. И только сейчас по-настоящему осознал, что ждет меня впереди: жара, непогодь, грозы и бесконечная скука.

Я закрыл глаза, и слух стал более обостренным. Хорошо слышались коровьи выдохи, шорох травы на легком ветерке.

Сквозь этот близкий шумок доходили другие звуки и голоса: торопливо журчащие напевы жаворонков, прерывистые выкрики сороки, отдаленный стук молотка. Напомнил о себе пустой желудок, в голове зевотный дурман от недосыпания.

Раздумывая о своей пастушьей доле, я услышал шумное дыхание у самого уха, Приподнялся на локте — это комолая Любка. Она настороженно пошла прочь и голову держала так, чтобы видеть все мои движения. Унести портянку ей не удалось.

Солнце пекло во весь накал, коровы насытились. Одни стояли, помахивая хвостами, другие стали ложиться, а третьи щипали, но уже без прежней торопливости.

— Ванька! — от кустов крикнул Лента.— Погоним на Лысину. Скоро принесут завтрак.

Мы зашумели на коров, погнав их по опушке Сечина на утреннее стойло. Подходило время встречать овец и телят.

СРЕДИ СКУКИ

Выгонял стадо я в смятении, будто каждый раз уходил из Лужны отбивать какое-то

наказание в камере-одиночке, и удивлялся, завидовал Ленте с его беззаботностью и веселостью. Не было у него уныния ни утром, ни среди дня, а уж вечером у нас обоих настроение по поговорке: солнышко садится — пастух веселится.

Лента покрикивал на коров, подбирая им комичные клички, распевал разные куплеты, а знал их многое множество. Подойдет ко мне, вдруг с криком «Эх!» ахнет оземь фуфайку и палку, по-девичьи раскинет руки и с нежным переступанием загорланит какую-нибудь частушку или нескладуху.

А без меня меня женили,
Я на мельнице пробыл.
Приезжаю весь в муке,
Она сидит на сундуке.

Прибаутке, может быть, сто или двести лет, но казалось, что это сложили про деда Сему и его бедовую Акулину; все, что он рассказал на косьбе мужикам, хорошо вместились в эти четыре коротеньких строчки. Такие прибаутки я записывал.

На второе место я ставил разговорные припевки с подначкой и тоже записывал.

У меня залетка был,
Звали его Колечка.
Он за мною улепетывал,
А я за ним нисколечко.

Были у него припевки и для шумных свадеб, где сыплют все подряд как в кучу малу.

Шел я лесом с интересом,
Старик рыжики варил.
Котелок надел на ухо,
А из носа дым валил.

Хотя Лента декламировал с выражением и изображением, такие припевки в уме не задерживались и на бумагу не просились. А то и вовсе понесет такую околесицу, что и сидеть-то рядом не хочется. Но сколько он знал частушек таких, как вот эта «Без меня меня женили!» Чтобы не забыть, я уточнял слова, спрашивал, а он называл меня дубом, тупицей.

Один раз Лента пропел знакомую и уже призабытую прибаутку:

Не завидуй мне, Маруся,
Что вернулся мой жених.
Вот сама я налюблюся,
И поделим на двоих.

Мне вспомнился случай, о котором рассказывала сестра. Тогда она еще не собиралась замуж, и наша мать называла Петра «шибздиком», потому что был маловат ростом да и на два года моложе Сашуры. Случилось это на вечеринке в Ивановке зимой, а вечеринки проводились по хатам, потому что не было никакого клуба. Вышла на середину певунья с этой прибауткой, а ее товарка говорит вслух: «Нет, Верочка, как-нибудь обойдусь, чего уж его, раненного, делить на двоих. Раз мой там остался...» Заплакала и хлопнула дверью.

Слушал я бесконечные Лентины распевки и не мог понять, как это он, вечный двоечник, не научившийся складывать и умножать дроби, сумел запомнить столько частушек, прибауток, нескладух. Я даже посоветовал ему:

— Тебе можно петь со сцены, под гармошку.

— На что мне твоя гармошка. Жалко, балалайка сломалась, я б тебе показал, как надо

рассекать воздух.

А я и без того знал его «рассекание». Лента как-то попросился участвовать в школьной постановке в роли жениха с балалайкой. Постановка была серьезная и поучительная, о ревнивце и ленивце, а тут, как увидели его с цветиком в фуражке и с жениховской дурашливой походкой на ползусогнутых ногах, расхохотались, закричали: «Леник, поддай!» Едва утихли, Лента подсыпал частушек про несчастную любовь, а это не предусматривалось постановкой. Не выдержали и те, кто играл с ним свою роль. Отменили этот номер, и весь концерт смотрелся уже без интереса. Больше Кулагина на сцену не допускали из-за такого шутовства и своеволия.

В первые тоскливые дни около стада я завидовал беззаботности Ленты, а потом стал завидовать и его способностям. Эти шутовские притопы-прихлопы и распевки не просто забавляли, они стали для меня необходимостью, как завтрак или обед. Хотя нет, пожалуй, насчет еды я хватил через край. Пока принесут завтрак, все глаза проглядишь. Самыми напряженными были те минуты, когда мы пригоняли стадо из Брудова сада на Лысину и ждали завтрак, наблюдая за дорогой. Ориентир держали на Гришу Супонева, он ходил в МТС на ремонт комбайна. Если пошел — значит, полдевятого и с завтраком запаздывают. Ко недолго Гриша помогал нам, случилось происшествие, из-за которого он надолго попал в больницу.

Причина всему — деньги, а появились они у колхозников по такому случаю. В предыдущий год сложилось все к лучшему: и урожай конопли, и новые закупочные цены на пеньку. Всю зиму Женщины стлали тресту, сушили, а весной мяли, трепали, и пенька была принята первым сортом. Первый раз за несколько лет получили хорошие деньги, а тут слухи: одни говорили — война, другие — денежная реформа. Кинулись в магазин, хватали в запас мыло, спички, соль, керосин — все, без чего настрадались в войну. Мы видели с Лысины, как поутру везли и несли из Ивановки этот запас, а навстречу спешили другие. Иные поехали дальше, на станцию, потому что магазин почти опустошили. Потом выяснилось, слух пустили продавцы.

Супонев махнул в город и привез велосипед, о котором никогда не мечтал. На следующее утро он уже ехал в МТС на двух колесах. Перед спуском с горки слез с велосипеда, повел его в руках, ко на середине, где лошади передыхают с грузом перед главным подъемом, соблазнился, забросил ногу. Велосипед понес, набирая скорость, а он почему-то не тормозил. На мостике через ручей колеса запрыгали по неровному настилу, руль вильнул раз-другой, и Супонев понесло на обочину, едва проскочил ручей. Поднялся он быстро, оглядел велосипед. Отшвырнул его и сел на траву. Когда мы подошли, он морщился, держась за бок. Серые брюки были озеленены травой, а колесо напоминало восьмерку.

— Черт бы их взял, эти деньги и эту войну, — сказал Супонев болезненно, — два зла на свете, и не знаешь, какое страшнее. Купил сдуру на старости лет.

— А сколько, интересно, сломанный стоит? — поинтересовался Лента.

Он поднял велосипед, окорячил его и попытался крутануть переднее колесо, но было оно наглухо прижато к вилке. Тогда вдвоем мы разогнули так, чтобы колесо могло крутиться, и Гриша медленно повел свой искалеченный велосипед на горку, к дому. Вечером узнали, что его отвезли в больницу — сломал два ребра и вывихнул руку. С того дня мы определяли время по тени. На Лысине и в Брудовом саду сделали солнечные часы. От колышка тень продвигалась по отметкам, которые были расположены полукругом на расстоянии одного часа друг от друга.

Около стада многое мне открылось по-новому из того, что видел раньше, не задумываясь. Муравьи, которых всегда хотелось раздавить, показались интересными существами. А первым пригляделся к ним Лента. Сидели мы на траве, хлопали палками, и вот он затих, наклонился с интересом к земле:

— Смотри, какие настырные.

Я придвинулся к нему и увидел муравьев, они сновали туда-сюда по своему большаку. Оказалось, жильё их было в нескольких метрах, у обвалившегося окопа. Лента стал

преграждать рукой путь, но они ни на одно мгновение не останавливались, упорно метались вправо-влево, назад ни один не возвращался. А дорожка была присыпана мелкой трухой.

— Вот работают, никаких приказаний, и наперегонки,— сказал Лента без особого интереса. Я знал, что у животных и птиц есть свой язык или условный сигнал, и возразил:

— Приказания есть, только у них все по-своему. Практичный Лента не поверил:

— Да где? Они даже не останавливаются. Были б приказания, тут бы какой-нибудь стоял навтыжку перед старшим. Вот видишь, кочегарит?

Подцепил муравьишку на палец и раскатисто рассмеялся, будто в чем-то разоблачил его. Этот смех казался дурацким, но я впервые подумал, что есть в нем свое понимание, которое никому словами не объяснишь, и не такой Лента простачок, каким его считают. Он ловко играет под дурачка, спорит для вида, сам же и проверяет спорщика. Казалось, у Ленты нет никакой гордости. Не было случая, чтобы он чем-то похвалился, в чем-то выделил себя. Наоборот, стараясь казаться хуже, чем есть, он будто маскировался, выставляя напоказ свою комичность. У него была хорошая память, а учился тяжело. Я не мог понять, как соединилось в одном человеке все это? Но у коров не спросишь, пришлось обратиться к самому Ленте:

— Интересно, а почему ты плохо учился?

Он усмехнулся, и мне стало неудобно за свой вопрос, поэтому поправился: — Не обижайся, хочу понять. У тебя ж хорошая память.

— А ты хорошо учился?

— Средне, как умел. В характеристике сказано: человек посредственных способностей.

— Ну и я как умел.

— Никогда не поймешь, что у тебя на уме,— намеренно обиделся я.— Темный ты какой-то человек.

Лента засмеялся удовлетворенно, но уже не так душевно, как над муравьями. Помолчал и вдруг воспрянул:

— Ну их, вечно тыкали пальцем: шут, клоун. Пусть хоть и шут, мне-то что.

— Тебе нравилось, поэтому и не учил ничего, да? Он миролюбиво шлепнул меня по шее:

— Много будешь знать, скоро станешь стариком. Хватит нам и деда Темы.

Глядя на муравьев, я думал, что совсем мало знаю о них. Как хорошо было бы, если б люди, животные, насекомые, рыбы имели общий язык. Но тут же и обнажилась нелепость этой мысли, потому что разговаривал на одном языке с Лентой, своим ровесником, а понять его не мог.

Редкий день проходил у Кулагина без выдумок и потех, все они рождались на ходу. Однажды он увидел у деда Зайцева газету с карикатурой: дядя Сэм летит на атомной бомбе, и шляпа у него как котелок. Попросил газету. Около стада смастерил такую же шляпу, прикрепил ее к голове телка Семерихи. Это был круглый смиренный бычок, которого мы звали Любычем, по имени коровы Любки. Вечером лужнинские смеялись над таким Сэмом. Семериха увидела и покачала головой, не зная, ругать нас или хвалить.

ИСПЫТАНИЕ

Случилось то, чего я всегда боялся,— гроза. Солнце к полудню жгло, выпаривая землю, редкие, наползающие на него облака не спасали от духоты. Первая туча показалась вдалеке на западе, и, хотя она едва-едва отдавала синевой, виделись слабые высверки молний. Вспомнилось, как за Лужной на взгорке после грозы мы нашли инспектора райфо с обожженным лицом, и с тех пор в грозу я отсиживался дома. Но вот теперь не волен был собой распоряжаться, чувствовал свою обреченность, беспомощность. Поговорили с Лентой, где лучше укрыться от дождя, но скоро стало ясно, что злая туча прошла стороной, по горизонту.

Радовался я недолго, в западной стороне обозначился новый синюшный наплыв, и снова там посверкивало. На поле, в лесу стояла неприятная тишь. Откуда-то донесся тревожный звук

простучавшей по мосту телеги, и этот звук словно бы напомнил, что кто-то спешит успеть до дождя под крышу. Не было привычных волн на густой озими, настороженным выглядел клин недавно взошедшей гречихи. И только листья осин на окраине леса тряслись местами как в лихорадке.

Туча расплзалась по всей западной стороне, наполняя ее мраком, приняла фиолетовый оттенок, а бледноватые передние выпуклости, как разведывательные щупальца, приблизились к солнцу. Была еще надежда, что пройдет мимо, как это случалось не раз, но фиолетовый цвет сгущался. Показалось, что и солнце в смущении от такого наплыва. Оно закрылось легкой кисеей, снова выглянуло, осветило прощально, а потом уже вошло в густую пелену и дало о себе знать лишь длинными пучками света, направленными к горизонту, в противоположную от тучи сторону. Небосвод покрылся сумраком, только далекий восточный горизонт был по-прежнему чист и светел.

Стало прохладно. Листочки на осинах колыхались едва заметно. Многие коровы перестали щипать траву, овцы собрались покучней, утих последний жаворонок, лишь ласточки юркали над нами, ободряя своей беспечностью. Сверкнуло в левой стороне, и в утробе тучи словно кто-то тяжело вздохнул. Два следующих ярких всплеска были бесшумны, но скоро совсем близко протарахтело звонко и протяжно. Подул ветер, закачались кусты татарника, заметались ветви деревьев на окраине леса. Ветер напирал, сносил в сторону хвосты коров и телят, а первых крупных капель, с которых начинается дождь, все не было.

— Иванчик, разгонит тучу! — одобрительно крикнул Лента.

Я этому не поверил. Только бы выдержать, не показать своего страха, Опять представилось черное лицо инспектора райфо и стало думать только об одном: обошлось бы все хорошо, и расстался бы со стадом. Почему это я должен ждать своей участи, когда другие сидят в безопасности?

Разом сыпанул дождь, туча заурчала уже настойчиво.

Я побежал к осине, но вспомнил, что возвышенные места притягивают грозовые разряды, вернулся назад, сел у самой опушки, накрылся фуфайкой. С западной стороны надвигался густой гул, а я не мог понять, что это такое. И вот обрушилась новая волна, это был сплошной поток. Выглянув из-под фуфайки, увидел Ленту. Он был голый, в одних трусах, и что-то кричал, подпрыгивая, шлепал себя по груди. Молнии секли там и тут, своим острием тянулись ко мне. В густом гуле теперь едва выделялась глухая трескотня. Казалось, она не могла пробить небесную парусиновую защиту, но вдруг хрястнул такой удар, будто эта натянутая парусина треснула в одном месте и выпустила на землю всю скопившуюся там мощь. Я лег, спрятал лицо, ощупал голову и мокрые бока. Закупорился, заткнул уши и ждал конца этого отвесного потока, как бы провалился в другой мир, где не существует ни времени, ни страха. Спина была мокрой, но об этом не думал, подавив в себе привычные чувства. Было тяжело дышать, сердце просилось наружу, а я все сжимал голову, сдерживал себя, чтобы не сбросить фуфайку и не оказаться беззащитным в бушующей стихии.

Теперь я спорил только со временем, приказывал себе: еще немного, еще минутку. В одно мгновение подумал, что теряю связь с этим миром. Освободил уши, сбросил фуфайку и ощутил прохладу и сырость. Сеял мелкий ситник, поток ушел дальше. Я стал наполняться невесомостью, готовый взлететь, как шар. Туча выдыхалась. Кажется, она собирала воедино все остатки, чтобы оглушить восточный независимый мирок, недавно сияющий и вольный. Над нами, где было солнце, посветлело, а скоро там сверкнул лучик и обнажил лазурные зубрины тучи вокруг него. Подбежал Лента в трусах, прилипших к телу, стал пританцовывать.

— Ох-хо-хо, мокрая курица. От ливня лучше всего в воде прятаться. А у меня все сухенькое, под кустом.

Солнечный свет оживил стадо. Коровы, телята, овцы зашевелились, стали щипать траву, а козы потянулись к кустам. Ярче обозначились квадраты полей, на фоне почерневшей земли посева были ядовито-зелены. Осины стояли тихие, словно в раздумье после волнений. Они искрились на солнце и роняли капли. Туча поурчала на прощание, стягивая с небосвода

отставшие ключья. Заговорили жаворонки, ожили в кустах птицы, аукнулась в нижней части леса кукушка. «Рада, жива осталась»,— подумал я.

Не успели мы обсохнуть, с дороги свернула подвода.

Это был Сема, он привел здорового быка с круглой шеей.

— Как она, божья благодать?— издали заговорил дед.— Хорошо-то как. Ох, пойдет в рост. Все поперет.

«Тебя бы сюда, задыхучего»,— подумал я.

— Я только к Лужне, он и шуманул, Ну, успел, успел. Отвязывая поводок от ручкицы телеги, он говорил:

— Вот генерал к вашему войску, прозвище — Борис. Имейте в виду, он отзывается. Это ваш первый помощник.

— А платить нам за него будут?— не растерялся Лента.

— Чего за него платить? Он сам себе хозяин, будет коровушек завлекать, вот и вся его забота. А ночевать определим на конюшне. Так что вам от него никакого вреда.

— Знаю я быков,— не согласился Лента.— Будет тут воду мутить, не набегаешься.

— По чести вам сказать, без платы еле выпросил у председателя. До ругни дело дошло. Колхозное стадо, значит, с быками, а единоличное на произвол? Пригрозил ему коллективной жалобой. Ну, кое-как уломал. А дело-то не мое личное, дело общественное.

— Общественное, а гоняться нам,— не сдавался Лента.

— Не хочешь гоняться — осеменяй сам. Я и председателю так сказал.

— А мы за Бориса не договаривались.

— О господи, недоношенный,— вышел из себя дед.— Я-то как привел его, ты спросил у меня? Все на том же уважении к обществу. Мое дело вовсе постороннее, у меня козы. А уж если у вас шаг по копейке, могу присоветовать. Огуляется корова — с хозяина на конфеты, по такому случаю никто не откажет, вы только проследите, уведомление сделайте. За это магарыч положен.

— С них возьмешь,— недовольно бурчал Лента.

— А это я могу гарантировать.

Сема развязал веревку, наброшенную на короткие рога, и отпустил быка с напутствием:

— С богом, ухажер. Командовай тут.

Борис потрянул могучей лобастой головой и тяжело зашагал в стадо, лоснясь жирными боками. А дед взобрался на телегу, тронул со второго окрика. Колеса чмокали густой смазкой солидола, оставляя резкий след на мокрой, блестящей траве.

Но и это событие не было последним. Не успел бык оглядеться в стаде, привела корову женщина с поселка Буковый.

— А я,— говорит,— иду из Ивановки, вижу, Сема ведет быка. У меня корова как раз приспела. Думаю, надо вести. Колхозное стадо черт-те где, километров пять от нас. Лента сразу выложил:

— Чужих коров не велено принимать.

— Деточка, милый, да как же мне теперь быть, я с ней столько проволынилась — и дезад?— стала просить она Ленту, видно считая его старшим.— В Политово вести далеко, да еще стадо там не сразу разыщешь. Я. уж вам заплачу.

— Нет, нет, мы тут ни при чем,— набивал он цену.— Строго запретили. Идите к Зайцеву.

— Я заплачу, только вот в спешке не захватила деньги. А вы придете — я отдам. Моя хата третья по ту сторону от магазина. Пять рублей уж вам отдам.

— Некогда нам ходить.

— Принесем,— заверила женщина и отпустила корову, прихлопнув ее по шее.— Иди, иди, Милка.

Корова свободно пошла в середину стада, будто все тут было ей знакомо, и лобастый Борис настороженно поднял голову. Лента поспешил согласиться:

— Значит, ваша хата третья от магазина?

— Третья, беленькая такая. Спросите Степаниду Каменеву, вам покажут. А хоть со мной

пойдемте.

Тут вспомнилось, что это мать Шурика Каменева,— тихого, неразговорчивого нашего ровесника, известного в школе тем, что без хвастовства умел постоять за себя, хорошо дрался. Я кивнул Ленте и пошел на противоположную сторону, а он за мной.

— Лень, это мать Шурика Каменева,— сказал ему.

— Какому капсюлем пальцы оторвало? Ну и что? Пятерка — не велики деньги, на кнут надо собрать.

Пока Борис увивался около Милки, мы заспорили. Я стал зачем-то доказывать, что яловая корова — это несчастье для семьи, когда ни молока, ни теленка в доме. Приводил примеры, а Лента все твердил о кнутах.

— Дурак,— обозвал я его.

— Сам дурак,— огрызнулся он и пошел к тетке Степаниде.

Они долго разговаривали. Потом тетка Степанида набросила на шею корове веревку, что-то сказала ему громко и пошла. Лента бросил на траву фуфайку и лег. До вечера он не напомнил о деньгах, и от Каменевой никто не пришел.

Как помнил себя, всегда хотелось добраться до гнезда ласточки, да только все взрослые предупреждали, что прикасаться к гнезду нельзя, а то накличешь пожар или какую-нибудь другую беду, что от этой птахи, как от любой домашней живности, зависит благополучие семьи. Выясняя истину, я спрашивал, а чем хуже другие птицы, и получал примерно такой ответ: ласточка — птаха домашняя, самая доверчивая к человеку и святая, как мать. Верилось и не верилось этому. И случилось мне на поминках старика Никодима услышать слова о его благородстве, а выясилось оно именно по отношению к ласточке. Она долго лепила гнездо — глина все отваливалась и отваливалась. Никодим увидел ее мучения, поднялся по лестнице и вогнал гвоздь. Гнездо получило опору, ласточка быстро справилась со своим делом. Вот такой был Никодим.

С поминок я вышел посмотреть его работу. Гвоздь заржавел, гнездо запорошено снегом, но хмурый Никодим показался таким понятным.

Как бы там ни было, нашу домашнюю ласточку я не трогал. Но было много других ласточек, тех, что усаживались длинными рядами на телефонных проводах, и тут уж я никакого страха перед пожаром не испытывал, потому что эти птицы ничьи. Глаза выискивали палку. Аккуратно поднимаешь ее, делая вид, что касатки тебя не интересуют, резким взмахом бросаешь вверх. Они взлетают разом, и в этой суетливости палка почти всегда находит цель. «Птицы — наши друзья», «Мы любим родную природу», — выводили мы в диктантах или списывали с доски, боясь сделать ошибку, но больше любовались своими убитыми друзьями, потому что живых не так просто поймать.

Учительница ботаники говорила, что птичка уничтожает столько-то и столько-то насекомых, что она вылетает через каждую минуту за червяками для птенцов, но я ни разу не видел это сам, хотя гнездо ласточки было у нас на дощатом треугольнике, под сводом соломенной крыши. И вот сейчас так много времени наблюдать. Здесь, у Брудова сада, я впервые увидел, как птичка, похожая на воробья, торопливо вылетает из гнезда и быстро возвращается с кормом для птенцов, а они чуть слышно попискивают. И я подумал, что знаю всего десяток птиц, а их-то в нашей местности раза в три-четыре больше. Был соблазн дотянуться до замаскированного гнезда, но это показалось преступным. Поставил себя на место пастуха Вени и его подпаска Гришки — кого они могли обидеть?

Раньше в звании пастуха мне виделась какая-то безысходность от неумения приложить руки в серьезном деле, а когда это звание коснулось меня лично, когда переболел своей гордыней, стала угадываться в нем особая общественная значимость даже рядом с такими словами, как тракторист, шофер. Пастушество представлялось мне наукой о природе, о животных, слово «пастух» теперь не казалось мне таким унижительным, и все-таки слышалась в нем из-за последнего звука «х» какая-то вековая дряхлость, с которой и само слово, и образ человека с кнутом всегда казались в лохмотьях. В стихах Пушкина есть слово «пастырь», но опять же это звучало по-церковному, как пастор.

Я не мог объяснить, в чем состоит общественный вес пастушьего звания, но сознавал, что он существует. Например, оплата пастухам всегда была твердой, независимо от урожая,— купи, но должное отдай. А уж кормили их, по известному выражению, на убой, готовили самое лучшее — кому ж охота быть на миру хуже других? Каждая хозяйка опасалась плохого отзыва пастухов и всяких сплетен. Но это если пастухи настоящие. У нас же с Лентой получалось все наоборот, сплетни цеплялись к нам. Никогда не задумывался, как они рождаются, потому что все казалось ясным; не раз видел в кино: сядут женщины в бездельный час с семечками на бревнах и перебивают косточки то одному, то другому, на губах у них обязательно висит шелуха. А сплетни, оказывается, обходятся без бревен и без семечек.

Ужинали мы у Королевой Анисьи. Уже смеркалось, и семилинейная лампа плохо освещала хату. В тусклом свете мелькали сонно гудевшие мухи. Королиха предупредила:

— Вы приглядывайтесь к мухоте, они у меня наглые, так и ныряют в чашки.

Поели суп, кашу, налили чаю; чай только у неё и был, у остальных молоко да молоко. Королиха принесла песок в белом мешочке, зачерпнула кружкой.

— Сыпьте, не жалейте.

— От него, говорят, ум прибавляется,— сказал Лента.

— У кого прибавляется, а у кого и нет. Наш Жорка сахару почти не видел, а дураком не стал,— приспособила-она свою похвальбу к его словам.— Доучился, прокурором работает. Нет-нет да и пришлет посылочку.

Лента сделал конфузливое лицо, дескать, расхвалилась, но вслух восхитился:

— Ничего себе — прокурором.

— А все равно как мальчик,— словно боясь сглазить его, поправились Королиха.— Собрались ломать старую хату, а он нам телеграмму: не трогайте без меня. Десять лет назад в матицу затолкнул двадцать копеек, а вот теперь хочет достать, он только один и помнит, где она там, Федор начал было потолок ломать, а я говорю: не смей, подождем Жорку, раз просит.

Она взяла подойник, ушла доить корову. Мы зацепили сахару по одной ложке, по другой, размешали.

— Несладкий,— сказал Лента,— надо крутить в другую сторону.

Зачерпнул еще ложку, размешал, но чай и теперь был несладкий. Он взял щепоть на язык, сплюнул:

— Манка.

— Скажем ей? — предложил я.

— Давай ты,— увильнул Лента.

— Заячья душа.

Посидели, и мне говорить расхотелось. Вылезли из-за стола, а тут Королиха.

— Налопались аи нет?

— Спасибо, пойдем.

— Всех вам благ. Вы скажите, если что не так.

— За что?— моргнул мне Лента.

Мы смеялись друг над другом, рассказывали, как крутили налево и направо манную кашу, и до Королихи докатился слух, да еще какой слух-то. Она пришла к нам со слезами и стала жаловаться сестре, какие мы злоехидные, ей ничего не сказали, а пустили сплетню. Вины своей мы не признавали, потому что смеялись над собой и друг над другом, но было почему-то стыдно и унижительно. Несколько дней не ходили ни к кому на ужин, чувствуя себя прохвостами. Так и обтесывались мы в своей пастушьей должности, по выражению деда Семы.

Ночи были короткие, как овечий хвост, и Лента домой ходить не успевал. Свою постель мы устроили в нашей плетневой мазанке. Засыпали мучительно. В светлых июньских сумерках слышались разные голоса: кто-нибудь ругнется на корову, где-то мыкнет теленок, от Ивановки донесется перебор гармошки, а больше всего будоражили голоса лужнинских

ребят. Выйти бы к ним, да связала по рукам и ногам эта пастушья обязанность: нанялся — продан. Трудно представлялось, как это можно жить беззаботно, спать вдоволь, идти куда ноги понесут.

Чтобы заснуть, я пробовал считать до тысячи, твердил про себя какую-нибудь напевную строчку или задумывался над каким-нибудь пустяком. А Лента нашел для себя надежный способ. Обхватив голову, энергично качал ее влево-вправо, убаюкивал себя. Скоро руки его слабели, и это потешное болтание головой сменялось пронзительным сопением. У него в носу была какая-то помеха, тяжело дышал, сон был на редкость шумливый. Но вскакивал Лента без всякой раскачки, по отдаленным звукам приближающегося стада. Он старался уйти тихо, чтобы не разбудить меня. И если сестра, выгоняя корову, не заглядывала в мазанку, я спал еще около часа. Опомнившись, мчался к выгону налегке, без сапог. Благодарный Ленте за его великодушие, я, однако, чувствовал себя обескураженным перед встречными. Попадал в такое же положение, в каком оказывается любой из мужиков, когда на ровном месте завалит воз соломы или сена, а вместе с ним и свой мужской авторитет. Давал себе зарок, что последний раз такая промашка, но сон был сильнее зарока. Лента по-прежнему великодушничал, а сам я не мог вовремя проснуться. Так продолжалось до тех пор, пока сестра не взялась за меня.

Дни стояли жаркие, зацветала рожь, и это, как говорили, такое время, что коровам — дрожь, нервозность. Дело, конечно, не в цветении, а в том, что начинали буйствовать мухи, оводы, слепни, от которых нет спасения ни в тени, ни на дворе. Коровы машут хвостами, фыркают, раззадоривая друг друга, порываются бежать сразу же после нашего завтрака. Как ни стараемся удержать их часов до одиннадцати, это удается редко. Обязательно найдется отчаянная, которая пойдет напролом, а за ней все стадо. Мчатся они, прижимаясь к кустам, и разбегаются по своим закутам, где спасаются часов до пяти, пока не спадет жара. А овцы собьются в кружок под деревьями у крайнего огорода и переносят жару в неподвижности.

В нашем стаде бельмом на глазу была комолоя Любка, она безнаказанно издевалась над нами. Еще коровы не отлежались на Лысине после росной пастьбы и оводы едва-едва напоминают о себе, а она уже на ногах. Беспokoйно ходит, вертит задом и обмахивается хвостом. Потом начинает бегать по кругу. За ней вторая, третья, но первый напор сдержать удается.

После завтрака безрогая баламутка более настойчива. Она бросается в галоп, убегает в противоположную от деревни сторону, возвращается и снова убегает. Коровы, глядя на нее, безумно зыкают, тут и там прорываются через наш заслон, двоим сдержать их невозможно, и мы открываем дорогу к Лужне. На Лысине остаются телята, овцы, козы да Любка. Она уже уверенно идет к деревне, и только потом ведет свое семейство козел Коля — двух коз и двух козлят.

День ото дня мы упускали коров все раньше. Дошло до того, что их беготня начиналась сразу же после нашего завтрака. Я знал, что это уже слишком, и ждал неприятностей. Лента злился, грозил комолой расправой, собирался поговорить с Семерихой, чтобы она или забрала ее один раз пораньше, или привязала бы под ракитой.

От имени общества, как обычно, высказался дед Сема — к каждой бочке затычка.

— Пастушьи головы, вы совесть потеряли, ей-богу. Нельзя же так, в девять часов разгоняете коров.

— А что мы сделаем?— отозвался Лента.— Жара такая, оводы.

— Жара — дело вечное. Но у Вени как было? Раньше одиннадцати не пригонял.

— Вене тридцать пять пудов платили, у него и получалось,— сказанул Лента неизвестно зачем.

— Ах ты, архаровец, уже торговаться начал,— набросился дед Сема.

— Да не потому, их удержать невозможно,— перехватил я его ругань.

— В Брудов сад вернитесь на часок, по кустам прогоните. Думать надо. А то стоите с самого утра над душой друг у друга и ждете, когда побегут.

Мы пообещали исправиться.

— Ничего-ничего, я ее завтра проучу,— грозил Лента. Утром в Брудовом саду, перед тем как направить коров

на Лысину, он взялся гонять комолоу. Любка бегала легко, Лента выдыхался и требовал моей помощи, но я отговаривал его — вдруг кто увидит из леса. Лента отдыхал и снова принимался гоняться за комолой, чтобы укротить ее до завтрака. Она бегала по кругу, а это ему было на руку, не будоражила стадо.

После третьего передыха Лента сказал:

— Вот теперь посмотрим.

Вернулись на Лысину. Коровы улеглись, а мы наблюдали за комолой и даже не вздремнули. Встала Любка, как обычно, раньше других, но беспокойства никакого не проявляла.

— Ну, как? — спрашивал Лента.— Укатали Сивку крутые горки? — И смеялся, удовлетворенный.

Он был доволен, а меня тревожило предчувствие, что придется плакать. Коров на этот раз держали до десяти часов. Увидев на дороге Сему, Лента злорадствовал:

— Ишь как у него кругло получается? Два раза в Брудов сад гнать из-за этой комолой. Надоел он мне, косой заяц.

Сема уже издали похвалил:

— Вот видите, как хорошо. А то рассусоливали: жара, мухи.

— Стараемся,— ответил Лента.

ПРОРУХА

Настя Кулагина поехала в город, и у Ленты сбылись сразу два желания. Он выбрался домой с ночлегом, а утром пришел на выгон в новой фуфайке, о которой «мозжил» матери, и с новой балалайкой — держал ее почему-то на плече.

— Ну-ка, играни,— попросил я.

В той же позе с балалайкой на плече он запел, покачивая головой:

— Играни-ка, игрочек, ты получишь пяточок. Хорошо будешь играть — можно гривенничек дать.

— Сыграй, сыграй.

Лента резко пнул ногой, и резиновый сапог шмыгнул по куцей траве, сбивая росу. Сапог со второй ноги вымахнул высоко и шлепнулся в середине стада, но ни одна корова не повела ухом. А он фасонисто раскинул руки, пошел вкруговую причмокивать пятками по мокрой траве и невпопад размахивать балалайкой. Остановился, втянул голову в плечи и забренчал с притопыванием:

Ты дружочек мой Ванюша,
Запевай какую хоть.
Про любовь, прошу, не надо,
Мое сердце не тревожь.

Лента спел несколько частушек и вдруг преобразился, рывками стал щипать струны и надрывисто запел, дергая плечами:

Очи черные, очи страшные, Очи жгучие и прекрасные...

Пока потешались, коровы почти все перебрались через ручей, потянулись к Брудову саду, и мы — за ними вдогонку. Не входя в мокрые кусты, прошли по опушке Сечина леса, на всякий случай покрикивали на коров, а они-то знали свою дорогу и нигде не задерживались.

В Брудовом саду солнечно, росно, далеко видно вокруг. Повесив фуфайку на сучок осины у самой опушки, Лента заиграл. Он выводил мотивы песен «Коробейники», «Светит месяц», и все получалось. Балалаечный звон заинтересовал козла Колю. Он сначала смотрел в нашу сторону в отдалении, потом приблизился, оставив у кустов свою семью. Я удивился, но не

подал вида, стал наблюдать. Тут и Лента увидел козла, медленно пошел ему навстречу.

— Ты что, песню хочешь спеть? Иди, иди, споем.

Он затренькал тонко и переливчато. Недоверчивый козел повернул назад и уже с безопасного расстояния стал смотреть в нашу сторону. Морда его казалась удивленной и обиженной.

— С козлом мы поработаем, как в цирке,— пообещал Лента.

Часов в семь, когда коровы нахватались, росной травы, мы вернулись на стойловую Лысину, обласканную и прогретую солнцем. До завтрака было еще много времени, но спать не хотелось. Я взялся побренчать на трехструнке. Звуки вылетали сами по себе, никак не управляемые мной.

И дернуло меня подкрутить одну струну. Она не выдержала, оборвалась. Лента выхватил балалайку, заорал:

— Что ты наделал? Покупай новую! На, играй! Бросил балалайку мне на колени, подхватил фуфайку

с палкой и торопливо пошел от меня, лег в отдалении. В первые минуты доносились ругательства, но вот он затих, укрылся с головой фуфайкой. Я тоже лег на свой пиджак и скоро услышал его приглушенный голос. Приподнимаюсь и вижу: Лента лежит вниз лицом, а над ним комолая Любка прицеливается к фуфайке. Значит, он решил, что это я дергаю его, чтобы примириться, и упорствует, гонит прочь, не поднимая головы. Любка потянула за рукав — опять возмущенный голос. Тогда комолая наступила на фуфайку, рванула ее и вразвалку потрусила с большим клоком в лохмотьях ваты. Лента вскочил винтом, с криком и подвыванием схватил палку и понесся за коровой вниз, к ручью. Я подбежал к его фуфайке и понял, что тут, в отличие от балалайки, ничего уже не поправишь. Меня охватил стыд за то, что не прогнал вовремя корову, и жалость к своему товарищу, и ненависть к этому безроговому созданию. Любка легко бежала, изогнувшись влево, а когда Лента отдал последние силенки и достал ее палкой, пошла вприпрыжку, а клочок фуфайки так и не выпустила. Задохнувшись и потеряв надежду отомстить, он с воплем швырнул палку вдогонку и распластался в бессилии, заревел, застучал кулаками по земле. Сверху мне было хорошо видно, как палка стала на попа раза три и юркнула в крапиву у ручья.

Меня понесло наперехват комолой, а она заблаговременно перескочила ручей и бросилась в галоп по берегу в сторону Ленты. Я выдыхался, но теперь уже Лента пришел в себя и побежал вдоль ручья по своему берегу. На узком месте перепрыгнул, повернул комолую назад. Она кинулась наверх, на другой склон ложка, но, сделав полукруг, обогнула меня, повернула к ручью, опять перемахнула на другую сторону, к стаду. Уходить от коров она не хотела.

Мы сменяли друг друга, а она- то переходила на галоп, то опять бежала налегке, и если у нас выходила несогласованность в действиях, слегка трусила, передыхая. Наконец коровенка уронила клочок фуфайки, но мы, разгоряченные погоней, не отставали. Лента настиг ее первым, забарабанил по бокам и спине то ладонями, то кулаками, а то, перебегая с одной стороны - на другую, пинал голыми пятками в зад, в живот, по шее - где помягче. Комолая стояла, будто дразнила: «Бейте, бейте еще».

— Палку, палку принеси!— закричал Лента и вцепился корове в уши, хотя она стояла и без того смиренно.

Я побежал к ручью, разыскал палку, но пошел не к корове, а наверх, к своему пиджаку. Ленту припугнул:

— Уходи, там на лошади едут.

Он огляделся, и хотя никого не увидел, оставил корову, направился за оторванной полкой. Поднял ее и, держа перед собой, заплакал свободно и беззлобно, как плачут при свершившемся несчастье, когда уже ничего нельзя поправить, ничем, кроме слез, не утетишь сердце. Пошла и Любка к коровам.

Солнце давно оторвалось от макушек раakit. Был такой час, когда лишней становится одежда и обувь. Разомлевшие от тепла, коровы умиротворенно пережевывали. Среди них стояла

лишь Любка, наклонивши голову, да козы топтались около отдыхающего вожака Коли. Лента в задумчивости лежал на обезображенной фуфайке, а оторванный клочок валялся рядом. Я взял его, повертел в руках и сделал глуповатое уточнение:

— У матери машинки нету?

— Машинки нету, есть пулемет.

Не зная, как успокоить его, я вытер заслюнявленный коровой угол полы, расправил торчавшую вату и ободрил:

— Да ничего тут страшного, надо только нитки покрепче.

— Лучше новой будет,— отозвался он с горькой усмешкой.

— Не лучше, но затянется.

— Зарастет, как пузо после аппендицита.

Разговор угас, потому что выходило, будто я разорвал фуфайку и теперь подлизываюсь, чтобы смягчить свою вину. О балалайке пока ни слова, не до нее.

С минуты на минуту дед Сема должен пригнать овец и принести завтрак. Мне давно хотелось попасть к Семе, попробовать козьего молока. Одни говорили, оно жирное, как сметана, и вкусное, как сгущенное молоко, другие доказывали, что совсем противное, отдает козьим духом.

Я оглядел стадо. Все было так же, даже Любка стояла на одном месте, дремала стоя. Стало боязно за нее, поделился своими опасениями:

— Лень, а комолая стоит. Может, загнали?

— Мало гоняли, если стоит.

— Как бы не сдохла.

— Да что она, сердечница?

Лента говорил еще язвительным тоном, но было видно, что он струсил. Немного посидели молча. Он вдруг сказал в свое оправдание:

— Она мне фуфайку загубила. Бросила б клочок сразу...

— Когда бросила, мы все равно гнались.

— Гнались сто метров.

— Еще палкой хотел.

— А кто мне фуфайку купит?

Он переживал. Наверное, ругал себя и искал оправдания. Ненавидел комолую и жалел ее.

Перед заходом солнца Лента засобирался домой, в Ивановку.

— Ты гони, а я прямо отсюда пойду. Я понял его хитрость.

— А ужинать? Сема ждать будет.

— Да мне фуфайку-то надо зашить.

— Вот после ужина и пойдешь. Хочешь, чтоб все шишки за комолую на меня?

— Не будет никаких шишек.

Мы разошлись, стали собирать стадо. Лента поторапливал скотину, услужливо бегал туда-сюда и, когда стадо втянулось в деревенскую улицу, повернул вниз, к речке. Издали дал напутствие:

— Трескай там за двоих.

— Не надейся.

Он погрозил рукой, в которой был оторванный клочок, и больше не оглядывался. Фуфайку и балалайку нес на левом плече, а клочок держал в правой, размахивая им в такт ходьбы. Я думал, почему это Лента такой невезучий? Припомнил случай двухлетней давности. Я учился в шестом, а он в третьем. Наш класс был проходным. Когда третьеклассников отпускали раньше звонка и они, поторапливаемые своим учителем, сыпали от двери к двери, мы ждали Ленту. Он знал это и всегда шел среди последних. Увидев искривленную рожу, все смеялись, а наша учительница терпеливо ждала, пока успокоимся.

Один раз Лента прошел с серьезным видом, даже не взглянув на нас. И что тут случилось! Закричали, заулюлюкали, как в лесу, а кто-то подсвистнул. Думали, это самый большой его розыгрыш, но ивановские сказали, что у Кулагиных подавилась свеклой корова, так что ему

было не до кривляния.

МЫ — БАСУРМАНЫ

Без Ленты мне, никак не спалось. Лезли навязчивые мысли о комолой Любке, одолевал страх за нее, страх перед предстоящим разоблачением. Сколько раз я давал себе слово не обижать живность и следовать школьным заверениям в том, что люблю свой край, а рука тянулась к хворостине или палке. Почему это первым моим порывом было не остановить Ленту, а догнать корову, проучить ее? Если я, человек, даю себе обещания и не сдерживаю их, то как же она, бессознательное существо, может изменить свою натуру, отказаться от привычки, которая совсем недавно забавляла нас? Вышло так, что чужая тряпка — это интересно, а своя фуфайка пострадала — тут уж непростительное зло.

Всякое припомнилось. Например, то, как мы, компания ровесников, пошли в дальний лесок Волчатник за ореховыми палками, чтобы оградить палисадник от кур, и в густом ореховом кусте на краю заросшего оврага я увидел в гнезде куропатку. Она затаилась, прижала головку; Казалось, я стою перед выбором: быть мне счастливым или остаться на всю жизнь несчастным.

Сердце растворилось в теле, стучало десятками молоточков. Как ни крался я, куропатка выскользнула из рук, оставила восемнадцать яичек. Счастье упустил, но с гордостью нес в картузе яйца — шел один с такой добычей. Яйца сварили, съели, и больше о них не думалось. А вот теперь этот случай вспомнил с омерзением. Из ребят кто-то сказал тогда: «Оставь их, пусть выводятся». — «Завистник», — подумал я.

Вспомнилось и еще из детства. Измученная лошадь с возом остановилась на выгоне перед Нужной и дальше ни шагу. Возница хлестал, замахивался, а она только вяло отбивалась хвостом. Тогда женщина, которая все подталкивала воз, сходила в крайний дом, вернулась с пучком сена. Лошадь потянулась к сену, напряглась, пошла.

«Нет, так жить нельзя», — думал я, вглядываясь в густую темноту мазанки, где светлело лишь маленькое оконце. В эти мятежные минуты увидел себя пожилым человеком, который с улыбкой смотрит на свое детство и думает, каким был глупым. Но как избавиться от глупостей, от соблазнительной лжи и начать обновление с завтрашнего дня? Решено: если только напомним о варварстве, назову себя дураком, признаю свою жестокость.

Эта отрадная мысль и убаюкала меня. Пришло красивое видение. Я взлетал, махал руками, боролся с ветром и парил над оврагом. До края оврага оставалось совсем немного, но тут видение оборвалось: в проеме двери стоял Лента и ухмылялся.

— Ну ты и спишь. Вскакивай.

— Подожди, я сон такой видел. Летал над землей. — Хорошее дело, я сам сколько раз летал. Говорят, это у влюбленных бывает.

— В кого ж ты влюбленный?

— В тебя, — подмигнул Лента, но я понял, что это намек на Нину Паршину, и не стал уточнять, сбросил одеяло. Пока одевался, он расспрашивал: — Как насчет комолой? Никто ничего? Ужинать не ходил? Значит, все нормально, а то Семериха прибежала б. Пойдем на тот край, захватим коров.

Спросонья я не сразу разглядел, что клок его фуфайки пришит на живую нитку. При движении он качался свободно, сам по себе, но как засмеешься после того, что случилось.

По деревне шли молча. Лента курил, волновался. У крайних домов никто не сделал и намека на вчерашнее, мы уже успокоились. Но вот вышел Сема с козами и огорошил:

— Это что ж вы, басурманы, так распоясались? Разве дело пастуха скотину гонять дубьем? Дело пастуха крикнуть, кнутом щелкнуть. Выходит, нельзя вам доверять такую службу? Ах, окаянные!

Женщины, еще не поняв, в чем дело, стали поддакивать:

— Коров нешто можно гонять? Мало ли что вы такие быстроногие? Для остратки кнут нужен.

Я подумал, что вот он, тот момент, чтобы признать свое варварство, взять на себя вину, раскаяться.

— У хорошего пастуха и кнут только, для вида,— продолжал Сема.— Хороший пастух у живности бог и защитник, а вы кто? Любой телок скорее волку в пасть прыгнет, чем к вам подойдет.

Лента подергал подвешенный клок полы:

— А она мне что сделала? Видите, новую загубила. Я не миллионер.

— На то вы и пастухи, чтобы не сидеть в обнимку и не ротозейничать.

— А если схватила и не бросает? Глядеть, пока сожрет?

— Би-и-и-ить, бить, чтоб ребра затрещали! — издевательским тоном выкрикнул дед.

— Да мы палкой ее и не тронули,— вступился я, но Сема не придал этому никакого значения, пояснил женщинам:

— Попеременно комолою гоняли. Приходит вчера ко мне Семериха, подождала-подождала, а они и на ужин не явились. Чует кошка, чье мясо съела,

— Нельзя так, корова — скотина бессловесная, ее загубить можно. Собака — та хоть взвизгнет, если больно.

— Ах вы, кожелупы,— возмутился Сема.— Ки стыда, ни жалости. Я думаю, бабы, надо одного выпроводить, чтоб другим неповадно было.

— За что выпроводить, у нас и палки не было! — выкрикнул Лента плаксивым голосом.

— На первый раз можно простить, по неразумению они.

— Нечего потакать,— стоял на своем дед. Показалась из прогона комолоя Любка, а за ней Семериха.

— Мальчики, мальчики, как же вам доверять корову,— покачала Семериха головой.— За что ж вы ее так гоняли?

— Вот за что.— Лента приподнял подвешенный клок.— Только купили, а она вырвала.

— Да поймите вы, глумные люди, у ней такая закваска,— убеждал Сема.— А у иной — рогами поддавать. Это ж природа, а вы ее дубьем.

Его рассуждение совпало с моим, я уже подбирал слова раскаяния, но тут женщины оставили нотации:

— Платоновна, мы уж всыпали им, хорошая наука будет.

— Не поймут — пусть пеняют на себя,— добавил дед.

— Я б заплатила, если так. Что сделаешь, такая она корова, с лысиной родилась.

— В Индию их надо отправить, там за корову живо уши пообрывают. Там на корову не замахнешься, грубого слова не скажешь.

— Ладно, пусть гонят.

Женщины повернули назад, а мы гадали, кто ж это увидел, как мы гонялись за комолой?

В Брудовом саду Лента бросил фуфайку среди стада и ушел от нее подальше. Я предупредил:

— Опять подхватит.

— А пускай дожевывает, Семериха новую купит. Зачем мне эта рвань?

— Ни новой, ни старой не будет.

— Ну и ладно.

Предупреждал я Ленту лишь для порядка, потому что был уверен, комолоя не тронет. И все-таки посматривал на нее. Ждать пришлось недолго, она стала незаметно подбираться к фуфайке. Щипнет раз-другой траву — сделает два-три шага. Продвигалась устремленно, хотя эту устремленность посторонний заметить не мог. И вот наклонилась, стала обнюхивать. Лента не выдержал, заорал:

— Куда, безрогая тварь.

Комолоя нехотя отвернула, а мы с Лентой заспорили. Он утверждал, что вчерашнее наказание ей на пользу не пошло, а я доказывал, что как раз урок впрок, если крик на нее подействовал.

Я И ЛЮБКА

Как после проливня устанавливается ведро, так и к нам с Лентой вслед за навалившейся прорухой пришло умиротворение. В стаде было все спокойно, с людьми ладили, погода установилась светлая и мягкая. В сознании укрепилась идея о предстоящем обновлении в моем характере, о переломе в моем самолюбии.

Не один раз я намечал день, после которого все мои поступки должны быть обдуманными и правильными, но мешали разные соблазны и приходилось откладывать, намечать новые сроки. Зрело желание признаться в какой-нибудь своей вине, разорвать путы болезненного самолюбия, а повода никакого не находилось. И тогда я, переполненный этим желанием, подобрал сам повод. Еще год назад в ночь на петров день мы, четверо лужнинских, забрались к деду Семе в сад и потревожили грушовку, которая была еще зеленовата, затоптали под яблоней картошку. Дед тогда пошумел («Вот бы узнать одного мерзавца!»), да на том и сошло. Теперь хорошо бы признаться, перетерпеть стыд. Несколько дней я вынашивал свой замысел, были такие минуты, когда сам себе казался смешон и наивен, но уже не мог от него отказаться.

Момент случился удобный. Сема опоздал с козами и пригнал их на выгон последним. Расспросил, уточнил, дал наставление, а когда повернул назад, я решился:

— Дедуш, помнишь, в прошлом году у вас грушовку оборвали?

Сема даже не насторожился, сказал с безразличием:

— Разве только грушовку? От вас, азиятов, никакого спасу нет, изо рта вытащите.

— Грушовку, на петров день, — уточнил я.

— Ну, ты помнишь?

Внутренний голос шепнул мне остановиться, как в страхе иногда резко останавливаешься и вилеешь в сторону после решительного разбега для прыжка через ручей. Я уж сообразил, как выкрутиться, уйти в сторону — дескать, хотел предупредить, что в этом году опять собираются залезть на петров день, но подавил это идиотское желание, признался:

— Это я был.

— Один?

— Не один, четверо нас. Я сагитировал.

Сема поглядел на меня с каким-то веселым интересом, посоветовал:

— Еще приходите.

Я растерялся, не зная, что сказать, но он помог:

— А ты что ж признался? Грех с души снять? Исповедаться надумал, выходит?

— Почему? Так, вообще. Лента хихикнул:

— Он подхалимничает. — И этим облегчил мое положение.

— А, бузотер, — отмахнулся от него дед и пошел, но тут же остановился, кивнул на меня: — Это тебе зачтется на том свете.

Лента выдержал минуту, пока дед отдалился, крутанул пальцем у своего виска:

— Ты что, контуженый? Теперь залезет кто-нибудь — Сема тебе «зачтет» палкой. Понял?

Я его не слышал, оцепенев от мысли, что чуть было не вильнул в сторону, как струсивший прыгун, и не стал доносчиком. Было приятно, что перемахнул через грязный ручей.

Давно заметил, как часто складывается одно к одному или только хорошее, или только плохое. В этот день моего раскаяния случилось происшествие, которое было прямым его дополнением.

Стадо рассыпалось в Брудовом саду, а мы сидели на опушке, гнули дубовые обручи для корзин и изредка приподнимались, поглядывая, чтобы овцы краем леса не ушли за лесополосу, где начинались земли другого колхоза, или не полезли по гречишному полю. Услышали шум, фыркание, топот. Вскочили и растерялись: овцы неслись к нам, наскакивая друг на друга, а навстречу им к лесополосе бежала Любка, увлекая за собой стадо. И тут нам стал виден виновник всей суматохи — волк. Он стоял, словно поджидал бегущих к нему коров. Подпустил Любку совсем близко и лениво потрусил, но не вдоль лесополосы, а по

гречихе, почти наперехват коровам, так что комолой пришлось резко изменить направление. Коровы повернули за ней, а тут из-за лесополосы выскочил второй волк, поменьше, и побежал в другую сторону. Но Любка преследовала первого, расстояние между ними не изменялось. Волк бежал играючи, как бы дразня или заманивая к какой-нибудь засаде, а она не уменьшала шага, с тем же угрожающим видом клонила голову к земле, пугая несуществующими рогами, вела за собой мычащее войско, которое заметно стало отставать. Доносился рев.

Впереди была вторая березовая лесополоса, тянувшаяся от самой Лысины вдоль Сечина до соседнего лесочка Сурки. Вблизи нее волк ускорил бег и скрылся за березами. Любка резко остановилась, как останавливается выбившийся из сил человек, посмотрела в ту сторону и повернула назад. Нехотя разворачивались все коровы.

Только теперь мы увидели, что напуганные овцы и телята стояли около нас, и с ними три коровы. Козы беззаботно шуршали в кустах, да бык Боря и два бестолковых теленка, как видно не разобравшись в обстановке, спокойно кормились в сторонке.

Лента побежал, подогнал коров. Вернувшись, сказал:

— Во комолоя дала разгону.— Тон его был такси, будто он лично организовал эту погоню.

Коровы успокоились, стали щипать траву, а мы говорили об одном, восстанавливая до мелочей все, что видели, и строили предположения: а если б не Любка, что было бы? А если б волк бросился на нее, как отбивалась бы? А если б самим пришлось отбиваться — без кнута и стрельнуть нечем?!

Когда стадо возвращалось в деревню, я наблюдал за комолой. Она шла не впереди, как обычно, а среди последних. Подумалось о ее застенчивости — уж после такого поступка сзади держаться негоже. Выходит, что в природе все имеет свой смысл, который не открывается с первого взгляда и может остаться непонятным на всю жизнь. Каков этот смысл, я не знал, но верил, что пойму, докопаюсь до него. И первым шагом к такому пониманию был мой вопрос: а этот поступок комолой не есть ли ее коровье раскаяние после шкодливости?

Вечером мы рассказали в деревне про эту погоню за волком, к деду Семе даже зашли домой. Думали, удивится, а он сам знал много таких историй.

— С телят какой спрос, ихнее дело телячье, они — дети,— расшифровывал он.— А вот три коровы около овец — это не случайность, это как раз охрана. Волк-то зверь мудрый. Один может отвлечь, а второй из-за кустов и наскочит. Тут уж охрана начеку.

— А бык?— спросил Лента.— Генерал, а чего ж не побежал за волком?

— Тоже своя хитрость. Одно дело — тяжеловат. Другое — у коровы, как у любой женщины, чутье особое, семейная забота. А третье — коровы знают, что делать. Зачем ему ввязываться, генерал с винтовкой не бегают.

— Ну и кросс был, комолоя больше километра бежала,— говорил Лента, намекая, что та давняя погоня за Любкой — пустяк в сравнении с погоней ее за волком.

— Оно так в жизни бывает,— толковал дед.— Кому характер господь дал — рога пожалел, кому рога хорошие пристроил — натурой обидел. И у людей так. Иной неказистый на вид, да сотворит такое дело... Я вам так скажу: каждого надо понять, к каждому присмотреться. Что-нибудь да предусмотрел господь для добра даже злому человеку. Вот и приглядывайтесь...

Изречения деда были привычны, и все-таки, почему первой побежала за волком Любка — маленькая и безрогая? Рассчитывала только на себя? Или больше надеялась на своих рогатых подружек? Вот корова, а поступила благородно, смело, по-человечески. Значит, можно в ее характеристике написать: пользуется уважением в стаде. Вернее, так: коровы пользуются ее находчивостью.

Было над чем подумать.

ТАЙНЫ

Мои планы становились все более дерзкими. Прикинул, что поступлю в училище, через два

года стану работать на заводе, а Нина Паршина к этому времени закончит десятилетку и по моему настоянию выучится на бухгалтера. В городе по-настоящему сдружимся с ней, поженимся, найдем квартиру. Я сделаю все, чтобы руки ее стали такими же чистыми, как у городских, будет она сидеть за рабочим столом аккуратная и гордая тем, что вышла за меня замуж, и никто там не помешает нам сплетнями, от которых в деревне не спасешься. Эти мысли окрыляли и изнурили.

Но планы эти дальние, а надо предпринимать что-то уже сейчас. Хотя бы пригласить ее в кино, уйти в Ивановку в клуб и вернуться оттуда только вдвоем. Этому было хорошее начало: в углу между столом и стеной, под шкафчиком, я увидел упавшую из него пятерку и не стал ничего говорить сестре, оставил ее там на всякий случай. Время от времени заглядывал, проверял, однако то кино не было долго, то решимости не хватало.

Когда мы харчились у Паршиных, Нина принесла в поле обед. Лента развязал узлы скатерти, развернул и, заглянув в бидон с супом, сказал:

— Ничего тут не пойму. Давай-ка сама, а я погляжу, что ты за хозяйка.

— Сам наливай,— засмушалась Нина. Она сидела в стороне, выщипывая травинки.

— Все ясно, замуж не годишься.

— А ты?

— Я всегда готов.

Обычно она казалась мне недоступной, несовместимой со всем моим существом, а сейчас в смущении была своей, понятной, и тайные мечты показались мне такой живой явью, что лицо вспыхнуло, застучало в висках.

Лента налил суп, оглядел коров.

— Нин, когда пастухи обедают, хозяин обязан следить за стадом. Иди-ка подгони коз, палку возьми.

— Зачем, я и так их заверну,— сказала она и пошла вокруг стада к козам.

Отметив, как это у Ленты все легко и просто получилось, я удивился его признанию:

— Прогнал ее, чтоб ты хорошо поел.

— Один — ноль в твою пользу.

Он хитровато уставился — глаза в глаза, явно вымогая взглядом мое признание, но я удачно отразил этот напор:

— Хватит тебе кривляться.

Лента обмяк, хлопнул меня по плечу с уступчивым великодушием:

— Ничья, один — один.

Нина вернулась, когда увидела, что мы пообедали и сложили посуду в узелок.

— Тебе идет пастушить,— сказал ей Лента.

— А что, не хуже вас справлюсь,— ответила она с видимым уважением к нашей работе.

Я смотрел ей вслед и представлял, как идем вечером рядом, на ее плечах мой пиджак — настоящий, дорогой пиджак ярко-синего цвета. Одна незадача: я пока равного с ней роста, но верил, что подтянусь обязательно.

Нина поднялась на горку, скрылась за ракитами, а я все фантазировал, отгонял мысль о ее исключительности. Думал, переболею своим мучительным чувством и все кончится, стану нормальным человеком, каким был раньше. Но как взять себя в руки? Я задумал окольно узнать у сестры, как у ней начиналось с Петром, стеснялся он ее или нет? Зина писала, что теперь у него роман с комендантшей закончился, но Сатура никак не верила этому, а значит, в сердцах должна рассказать, каким он был и какой стал.

Наметил поговорить с сестрой не откладывая. Ждал вечера. Поужинай у Паршиных и поспешил домой. Но разговор сорвался, потому что Петро прислал письмо. Листок лежал на столе рядом с конвертом, и она кивнула с обреченностью в голосе:

— Вон, читай.

Я прошелся взглядом по первым строчкам, и стало понятно долгое молчание зятя.

«Здравствуйте, родные сыночки, супруга и шурина. Сообщаю, что я нахожусь сейчас в

больничном состоянии. Операцию сделали повторно, получилось навроде удачно. Врачи говорят, что нога гнуться не должна, но это еще вилами на воде писано, пока ничего не ясно. Мне думается, все будет нормально. Главное, чтоб не мучила после операции. Признали туберкулез кости. От чего получилось, сказать трудно. Думаю, от простуды. Это я точно подцепил в лесу в Желтоводье, когда с Кузьмичевой бригадой ездил на заготовку леса. Штаны хоть и ватные, а на коленках по снегу месяц ерзать — тоже не шуточка. Да и глуповат был по молодости, на пупок норовил взять побольше любого мужика. Все это и сказалось.

Сейчас лежу без движения, нога на весу, как дуло у пушки. Если все сложится хорошо, обещают выписать примерно в конце июля. Тогда и свидимся.

Разговаривал с врачом по поводу инвалидности. Он творит, что третью группу инвалидности дадут, но заболевание общее, а производственного стажа у меня кот наплакал. Ребята ругают, что поспешил с операцией, надо было бы еще потерпеть, не спешить в больницу. Теперь в пустой след руками махать нечего, всего не учтешь.

Был разговор и насчет трудоустройства. Предлагают мне после излечения остаться при больнице плотником. Оклад, правда, небольшой, но можно подыскать еще полставки. Главное, комнатенку дадут, будет свой угол. Голова думает о хорошем, а нога не дает никакого ходу.

Иван наш молодец, что не бросил стадо. Наверно, все же пусть он готовится в училище, в деревне ему нечего околачиваться. Пусть учится на слесаря или на токаря, на формовщика не стоит, эта работа тяжелая. А я вернусь домой, мне пока рыпаться некуда. На этом кончаю писать, до свиданья».

— Вот и все,— упавшим голосом сказала сестра.— Тут ему и стаж, и пенсия. Изрезали ногу, а спрашивать не с кого. Значит, гнуться не будет и никакой надежды.

— Почему — никакой? — возразил я.— Вот, почитай: операция получилась удачно. А что будет с коленкой, вилами на воде писано.

— Нет, нет, инвалид,— отрешенно заключила она. Сказать было нечего, и я вышел из хаты, оставив ее

в печали. Было понятно, что им друг без друга никуда: у него — костыли, у нее — дети. А я тут со своей душевной нуждой.

ЗАГАДКА ЛЕНТЫ

Коровы всегда казались мне на одно лицо, а вот с какого-то времени я понял, что у каждой особый характер и свое лицо. Одна настырная, другая уступчивая, третья ходит себе в сторонке и довольствуется тем, что под ногами. И только бык Боря представлялся загадочным, он был спокойным, траву щипал вяло, будто это занятие совсем необязательное и он рожден для того, чтобы только пережевывать. А уж Любка для меня светила всегда разным настроением. Казалось, я улавливал даже ее коровью улыбку, а случалось это, когда она нахально и безрассудно лезла к запретному месту, на негромкие упреждения не обращала внимания, но зато легко возвращалась после надрывистого окрика. Вот тогда и улыбалась хитро: дескать, теперь все ясно, какими горлопанам вы были, такими и остались. Если так, то она, конечно, права. На всех одинаково кричим, каждой дали кличку: Танка — от слова танк, Кукла — по прозвищу хозяйки, Каржавая — из-за того, что была неухоженной. На свое настоящее имя коровы легко отзывались хозяйкам, наши прозвища пугали их. Мне думалось, у них была какая-то двойная жизнь: одна — в стаде, другая — дома.

После встряски за наше варварство и погони за волком мы затаились. Лента стал готовить какой-то цирковой номер с козлом, старался доказать Семе, что тот зря называет нас басурманами, и начал подкармливать Колю остатками завтрака или обеда. Доказал это комичным способом, так и не поняв, хвалить нас стоит или высечь хворостинкой.

Лента лежал на спине, забросив ногу за ногу, и брэнчал на балалайке. К нему приблизился

Коля. Увидев козла, он перестал играть, оперся на локоть.

— Тебе что, Николай? «Светит месяц»?

Козел шевелил ноздрями и упорно смотрел на него ничего не выражающими глазами.

— А может, папироской угостить?— Лента встал, сказал мне:— Хочешь, курить научу его?

Козлы дым уважают.

— Опять начинаешь?— предостерег я.

— А что тут такого? У нас в Ивановке был случай... Он закурил, взял Колю за рога, вставил ему сигарку

в ноздрю. Тот засопел, закрутил головой, и сигарка упала. Лента погладил Колину бороду, и тут козел издал утробные звуки, похожие на кашель и чох,— глотнул дыма. Мы рассмеялись, а он отошел, еще кашлянул и посмотрел на нас, как, видно не понимая, обидели его или оказали услугу.

Наверное, это для него осталось загадкой, потому что на второй день опять приблизился с любопытством. Лента поласкал его, дал хлеба и стал сворачивать сигарку. Коля принюхался, а он отошел в сторону, закурил, пыхнул дымом, увлекая козла за собой.

— Что я говорил?— восторжествовал Лента.

Он взял Колю за рога, погладил по шее и повторил вчерашнее. Козел так же прокашлялся и был в том же недоумении.

Скоро Коля по-настоящему привык к куреву, он уже без опаски подходил к Ленте. Остановится и прядает ноздрями, втягивает в себя воздух. Лента приспособит сигарку, и козел начинает дышать быстрее, рывками.

Про нового курильщика мы, конечно, никому не говорили, а Сема часто спрашивал, как прошел день, какие новости. Один раз дед встречал своих коз особенно в веселом настроении, был под хмельком.

— Как, Лень, нынче никто тебе рукава не отжевал?

— Да меня коровы понимают с полуслова.

— Ох, неужели до этого дошло? — бодрился Сема.

— А спроси у Ивана. Я поддакнул.

Пока перебрасывались шутками, Лента свернул сигарку, закурил.

— Да в меня даже твой Николай влюблен.

— Ох-хо-хо,— смеялся дед.— Поди, так и норовишь где-нибудь отстегать этого влюбленного. Хе-хе-хе. Знаю я вас, кожелупов.

— А вот постой, сам увидишь. Сема убавил шаг, и Лента позвал:

— Коля, Коля.

Козел остановился, пропустил вперед коз и козлят и повернул назад, процеживая ноздрями воздух. Лента густо задымил и поманил козла.

— Ого, это уже совсем по-свойски! — воскликнул удивленный Сема.

А Лента взял Колю за рога, приблизил лицо к его морде и слегка бушкнулся — лоб в лоб, меж тем дохнув остатками дыма. Сема от удивления вытянул шею, и было слышно, как у него в горле сипит.

— Вот как, это уже можно представление ставить.

— Ладно, иди,— подтолкнул Лента козла и пошел назад, а Коля потянулся за ним.

— Это какая-то оказия, гипноз, что ль?— удивился Сема.

Вернулся за козлом, погнал его, хихикая и что-то приговаривая.

— Ишь задачки свои задает.— козырнул Лента.— Пусть нашу решит, косой заяц.

ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ

Из ремесленного училища пришел вызов. Близился день отъезда, а Петро не показывался. До самых последних дней все было неопределенно, я ждал подходящего часа для разговора с сестрой. Вечером, когда мы вернулись с ужина, она вышла доить корову.

— Скоро мне ехать.

— Ох, не знаю, как с тобой быть. Не знаю.

И тут молодцом оказался Лента. Он спокойно, по-стариковски тянул сигарку и так же спокойно рассудил:

— Без него обойдемся.

— Как мы тут обойдемся, разве я тебе помощница?— испугалась она такого простецкого совета.— Все в одних руках. Еще неизвестно, что там с самим, когда он выкарабкается из больницы. Может, до осени пролежит.

— Да хоть и до осени,— согласился Лента.— Когда сумеешь — помогнешь, а нет — один обойдусь. Мне думается, в училище он не задержится, грудь петушиная.

Лента нарочито хихикнул, и шутка его оказалась к месту. Б избытке чувств я налетел на него, стал давить, тормозить. Лента откашливался и не сопротивлялся. Вдруг он сморщился, выкрикнул «Ой-е-ей», а когда я отпустил его, заорал, оправляя плечи:

— Иди ты со своей ремеслухой! Папироской прижег! К черту! Или стереги, или в свое училище дуй! Все хочешь заграбастать!

Я насторожился, сестра тоже притихла. И тут Лента расхохотался, показывая на меня пальцем: как, мол, испугал?

— Ладно, давай бороться.— Он с размаху швырнул под ноги окурок, бросил на колья фуфайку и сошел с вытопанного места на траву.— Одолеешь — отпущу, а нет — обижайся на себя.

Сестра заругалась:

— Будя вам, ребра переломаете.

Он согнулся с искаженным лицом, растопырил пальцы, как это показывают в кино, когда безоружный защищается от ножа, и такая комическая готовность к схватке рассмешила сестру. Но я, опасаясь ушиба (тогда прощай училище), сел на порог.

— Шур, не нужен мне такой кролик, пусть едет,— объявил Лента.

— Ну и пусть, все равно вернется,— сказала сестра и пошла к корове.

Он похлопал меня по загривку: так, мол, надо ее агитировать.

В эту ночь я думал о поездке в город. Лента давно убаюкал себя и храпел, подсвистывая носом, а меня волновали экзамены по русскому языку и математике. За свое здоровье был спокоен, потому что я теперь не тот, что был год назад. Вытягивался, расправлял плечи, чувствуя в себе новую силу, доселе мне неизвестную. Теперь даже амбарные весы Зиновеича дотянули меня до пятидесяти трех килограммов, и значит, за вес и рост пусть волнуются другие.

Перед самым отъездом в город я позвал Ленту на вечеринку, ночи стали намного длиннее, и можно было малость разгуляться. А если сказать по секрету, хотелось увидеть Нину Паршину, поговорить с ней. Я полагался на Лекту, знал, что он поможет, если растеряюсь.

Едва мы подошли к короходу, где играла гармошка, я увидел ее в ситцевом платье, а перед ней стоял Васек Пимкин по прозвищу Фунтик, он пришел из армии в отпуск. Стоял Фунтик в военной форме, скрестив руки на груди и важно выставив ногу вперед. Я уж хотел нырнуть в корогод, но Лента смело подошел к ним, поправил фуфайку, наброшенную на плечи.

— Так, кого мы тут видим?— спросил он и сам себе ответил.— Пехоту и гражданское лицо. Пол - разный, возраст - тоже.

— Да катись ты, по ногам... в своих бахилах,— рыкнул Фунтик и убрал ногу.

Нина засмеялась, и я понял, что Лента наступил умышленно.

— В коровах бы разбирался, а то еще: пехота,— ехидно усмехнулся Фунтик.

— Вот ты? Нин, не поверишь, когда я служил танкистом, не любил носить гимнастерку, а если когда одену, все равно сверху пиджак,— начал куролесить Лента, издеваясь над Фунтиком, гордым своей военной выправкой.

Другому бы дали пинка, но Ленту уважали за острый язык да и знали, что изведет своими подковырками. Потому или не хотели связываться, или прощали.

Фунтику надоела перепалка, в которой выглядел бледновато, и он потянул Нину за руку, но Лента придержал ее со словами: матери скажу.

Мы остались втроем, и я по-настоящему оценил способности Ленты.

— Нина, ты знаешь, вот этот человек едет в реме-слуху.

— Еще экзамены надо сдать,— поправил я.

— Ты на экзамены?— уточнила она.— Ни пуха ни пера, чтоб все на пять.

Я показал редкую для себя вежливость:

— Спасибо.

— Не спасибо, а к черту,— сказал Лента.

— Я где-то читала, как один человек на любые поздравления посылал всех к черту.

Лента взял инициативу:

— Нин, тебе сколько лет?

— Скоро шестнадцать,— ответила она с некоторой неуверенностью.

— Шестнадцать, кончила восемь классов, а не знаешь, что женскому полу говорить про свои года не положено. Поймал я тебя?

Она рассмеялась:

— Поймал, поймал.

— А теперь ты спроси меня.

— Да ну тебя.

— Ничего не будет, клянусь.

— С тобой опасно.

— А вот зря не спросила. Я как раз и сам точно не знаю.

— Что, день рождения свой не знаешь? — живо уточнила Нина.

— Не в том дело. Тринадцатого октября мне сровнялось бы шестнадцать, но я почти год проболел, не ходил в школу. Значит, сейчас приблизительно пятнадцать лет. Точно теперь уже не высчитаешь.

— Ну и жук, вот сказанул,— смеялась Нина.

Ленте удавались почти все шутки, а если выходило что-то невпопад, ничуть не терялся, ссылаясь на свою малограмотность.

Увели Нину домой мы до окончания вечеринки. У дома Паршиных остановились, еще долго развлекали ее. Гармошка уже пошла по деревне, то в одном, то в другом месте пели страдания те, кто остался не в паре, а мы с Лентой все смешили Нину. На прощание он поцеловал ее ручку, комично откинув ногу назад, и никак не мог проститься. Она хохотала, закрывая руками лицо. Пыталась передохнуть, отвлечься, а ничего не получалось. Он говорил, что от смеха молодеют, и обещал сбросить с ее возраста три года. Мне ревностно подумалось, не покорит ли Лента ее таким способом, а я со своей гордой стыдливостью останусь в стороне. Рассеивал эту ревность тем, что он хоть и острослов, но трехклассное образование не даст ему ходу и, значит, преимущество на моей стороне.

Было такое настроение, что казалось, меня ждут невероятные события, которые закрутят по жизни. В этот вечер, когда легли спать, я преодолел себя, признался Ленте, что постоянно думаю о Нине, а это было редкой для меня дерзостью.

— Нашел, чем похвалиться, да Нинка любого сведет с ума,— сказал он не то шутя, не то серьезно.

Я не понял, огорчил меня этот ответ или обрадовал. Но знал, что в город поеду со спокойной душой.

А ДОМА ЛУЧШЕ

Среди собравшейся в училище братии я был теперь старичком и медицинскую комиссию прошел легко, без волнений. Народу перед экзаменами поубавилось. Мы, самые крепкие и отборные, собрались утром на диктант. Ожидая приглашения в классы, толкались во дворе, за красивой решетчатой оградой. Кто-то сказал, что диктант трудный, с уклоном на деепричастные обороты, а их-то я чувствовал нутром.

Мы сидели на лавочке с разговорчивым парнем в картузе с длинным козырьком-аэродромом.

Приметил я его еще во время прохождения комиссии, запомнил фамилию: Ахроменчиков. Он выворачивал простые слова, говорил: «ня знаю», «няхай его черти возьмут». Не стеснялся своей наивности, дотошно выпрашивал обо всем, что интересовало, и работники училища уже называли его по фамилии, как давнего знакомого, в шутку просили навести порядок в коридоре.

Сидели мы на лавочке в ожидании диктанта, и Ахроменчиков рассуждал:

— Ну что ж, что осталось трое на место. Няхай только не возьмут, я к Озеровой пойду. У меня отец погиб, и у матери нас четверо. Озерова знает, что я в ремеслу пошел.

Я хотел спросить, кто такая Озерова и почему она знает о нем, но во двор вошли двое городских — без фуражек, волосы у обоих ежиком. Один из них, в вельветовых штанах, аккуратно держал у груди котенка, поглаживая его. Вышел на середину двора и объявил:

— Крестьяне, отпрыск сибирского кота. Отдаю за два «рваных». Кому? Ученый кот.

Напросился Ахроменчиков:

— У меня дома таких четыре. Приязжай, задаром отдам.

Вельветовый подошел к нему, взял котенка за задние лапы и, покачивая в опущенной руке, как тряпку, рыкнул:

— Говор-рю: сибирский, ученый.

— Нашел сябирского.

— В-вахлак.

Вельветовый трепанул его котенком по шее, так что тот с тонким взвизгом отлетел к нашим ногам и нырнул под лавочку. Ахроменчиков встал во весь свой рост — не то решительный, не то испуганный.

— Ты жулик, да?

— Что-то около этого,— надменно ответил второй, который стоял настороженно, готовый добавить.

— Жуликов мы знаем. Они не такие.

— А какие? — наседали вельветовый, опустив руку в карман.

— Знаем, какие.

Во дворе напряженное молчание. Я заглянул под лавку, взял котенка. Чувствуя, что Ахроменчиков уступил, вельветовый приказал мне:

— Ты, баклан, отдай сибирского ему. А ты гони два «рваных» и забирай.

Надеясь, что обойдется без драки, я сидел с котенком в том же положении. Но вельветовый с угрозой шагнул ко мне:

— Дай сюда.

Я встал, ожидая получить такую же оплеуху, и лихорадочно соображал, что делать.

— Ну?— прикрикнул вельветовый и протянул руку.

Я понял: надо действовать, а руки были заняты. И решил, сунул котенка ему под нос. Он защитил лицо, но получил в ухо. В это время Ахроменчиков уже схватился с дружкой вельветового. Во дворе засвистели, закричали, но прежде чем понять смысл этого шума, я получил в скулу. Подскочил мужчина высоченного роста — мастер училища, и городские дали ходу.

— Как фамилии?— требовательно спросил он. Мы назвались.

— А ну, давайте за мной.

Поднялись на второй этаж к директору. Мастер открыл дверь, пропустил нас вперед.

— Вот эти самые красавчики, Сергей Осипович, уже показали зубы, устроили драку.

Персонально: Дмитрий Ахроменчиков, Иван Селезнев. Да драка — еще полбеды.

Живодеры настоящие, котенком друг друга лупили. А что дальше будет?

Директор выпорхнул из-за стола — маленький, ниже плеча мастера.

— Так, Ахроменчиков и Селезнев. Значит, ни человек, ни живность вам нипочем. Выходит, ничего святого за душой. Комсомольцы?

— Да,— сказал Ахроменчиков.

— Так-так, хороший пример. Что ж, прошу.

Сергей Осипович показал направление и первым вышел, а мы по коридору за ним. Я понял, что тону, и поравнялся с директором.

— Да я не комсомолец.

— Вот и хорошо, поработай пока над собой.

Мы оказались в комнате, где возвращали документы.

— Людмила Викторовна, этим друзьям надо выдать документки.

Людмила Викторовна, строгая девушка с косой, плотно обтянутая атласным платьем, осмотрела нас и пообещала:

— Хорошо, Сергей Осипович.

— Живодеров не держим,— ответил он на ее вопросительный взгляд.

Приговор был вынесен, а мне не верилось в свое несчастье. Понимал, что упускаю из рук пойманную птицу, хотел попросить прощения, сказать о своем сиротстве, но не смог ни слова выдать, ни заплакать. Голос подал Ахроменчиков:

— Вы сперва разберитесь. У вас тут жулики, а мы виноваты.

— Вот-вот, вы ангелы,— сказал директор и скрылся за дверь.

— Я документы брать не буду, пойду к Озеровой в облоно,— предупредил Ахроменчиков.

— А вы, Селезнев?

Мне захотелось скорее уехать домой, пока еще оставалось время до отхода пригородного поезда. Людмила Викторовна отыскала документы. Полистав их,— посмотрела на меня:

— Что же у вас получилось, Селезнев?

— Они придираются, а сами в стороне,— опередил Ахроменчиков.— Мы, наоборот, за котенка заступились. И выгоняют.

— Это не мы, а они котенком били,— подтвердил я.

— Вы сходите к директору и все-все объясните, он поймет.

— Ня надо,— горделиво сказал мой напарник.— Давайте документы.

— И мои,— сказал я.

Вышли мы с Ахроменчиковым от секретарши как родные люди. Во дворе кто смотрел на нас с сочувствием, кто улыбался, а один дурашливо выкрикнул, потирая руки:

— Еще на двух меньше.

Моя мечта о Нине растворилась, как в воздухе дымное колечко, на которое любуешься, пока оно, целенькое, плывет и закручивается. Но именно сейчас она явственно представилась мне, и не бухгалтером, а машинисткой, вот такой же красивой, в таком же атласном платье. Я еще на что-то надеялся, веря, что Нина Паршина станет непременно машинисткой, у нее по русскому языку была четверка; на углу одного дома видел объявление о наборе на курсы машинописи. У самого же меня остался запасной вариант — пойду учеником токаря на завод.

Не заходя к Екатерине, я купил десяток булок и поехал на вокзал, хотя до отхода пригородного поезда было два часа. На вокзале толчея, сплошной гуд, заглушаемый лишь зычными объявлениями диктора. Времени много, а у меня в кармане неразменная десятка да почти рубль мелочи. Мелочь — это на два стакана сладкой газированной воды, а вот что делать с десяткой? Хорошо бы привезти ее сестре целехонькой. Но еще неизвестно, что сулит мне шестидесятикилометровая дорога. До станции билет стоит два пятьдесят. Можно, конечно, проехать по детскому за рубль. Рубль — не деньги, но стоит разменять и от красивой десятки останутся рожки да ножки. Тогда обязательно сорвусь на мороженое, на полкило пряников.

Я слонялся по вокзалу, подходил к кассе, заглядывал в буфет, а что-то удерживало от газированной воды, от билета, от мороженого. У буфета я то держал десятку наготове, то опускал в карман пиджака. Смотрел на весы и прикидывал, сколько ж пряников в килограмме, но сзади стали напирать, кто-то загудел над ухом:

— Чего тут отираешься? Отвали, если не покупаешь. К стойке пробирался дядюшка с утиным носом, и пришлось уступить.

— Отираются, вынюхивают,— говорил он мне вслед, словно бы кому-то жаловался. Я отошел от буфета и подался на перрон. Рука опустилась в правый карман пиджака, а он был пуст. Еще не осознав пропажи, торопливо ощупал левый, сунулся в карманы штанов — десятки нигде не оказалось. Пронзила догадка, вспомнилось недоброе лицо дядюшки с утиным носом. Не желая мириться с несчастьем, пошел к буфету, но ни десятки, ни дядюшки не было. Предстояло ехать зайцем.

Стоял я на перроне и ощущал в себе усталость, как после тяжелой и долгой работы. Было одно желание — скорее добраться до дома, сбросить пиджак, ботинки и выйти на огород, послушать звон телефонного столба, заглушить этим звоном свои беспокойные мысли. В городе хорошо, но дома все-таки лучше.

КАМАРИНСКАЯ СТОРОНА

Местность наша почти безлесная, жиденькие пролески чаще всего ютятся по склонам глубоких логов, и сверху, с опушки, в зимнее время они просматриваются насквозь.

Редкие строевые деревья вырубил в сорок третьем на устройство землянок вместо сожженных хат, да и молодняка много было вырыто после засушливого голодного лета сорок шестого года, когда по полям и вдоль дорог сажали против суховеев лесополосы. Во многих хатах на стенах сохранились плакаты: Сталин с трубкой перед картой с квадратами полей, а под рисунком слова: «И засуху победим!» Страх перед засухой таился в каждом человеке, хотя на второй же год последнее в нашем колхозе выдался редкостный урожай, выполнили план хлебопоставок, и на трудодень вышло по два килограмма хлеба — в пять, в семь раз больше, чем в других хозяйствах, так что некоторые семьи получили по тонне и даже больше; председателя выпроводили за самоуправство, и с тех пор не было ни такого урожая, ни такой оплаты.

Самое возвышенное место — наш выпас, Брудов сад. Отсюда на многие километры виделась округа вдоль луговины километровой ширины. На середине этой луговины, не имеющей, в отличие от ложков, никакого названия, тянулась речка Ицка с куцей, обглоданной лозой по обе стороны. Если смотреть вниз, по течению Ицки, на взгорках слева и справа от низины увидишь цепочку деревень, которая обрывается в светлой дымке. В стороне от тех невнятных очертаний, на высоком горизонте вырисовываются три дерева. Я знал, что это три неохватных дуба и до них двенадцать километров. Они всегда манили к себе, сызмальства мечтал увидеть их настоящую величину, но не случилось ни разу побывать в том краю, противоположном райцентру Сосновке. Это туда уходили телефонные столбы, и в моем представлении столб с подпоркой на нашем огороде был главным в этой линии, председателем всех столбов, он сблизил меня с могучими деревьями.

Мимо трех дубов проходила дорога на Маговку, куда ездили на мельницу и на крупорушку, дорога называлась камаринской. Один раз, когда наши близнецы загрипповали, сестра снарядила меня ехать с мужиками на крупорушку, но в последние минуты передумала, опасаясь за два пуда проса, поехала сама. Я обиделся из-за такого недоверия и несостоявшейся встречи с камаринской стороной, но потом понял, что все оказалось к лучшему, дубы-великаны оставались для меня сказочными.

Когда в большие праздники лужнинский люд собирался на гуляния, я с привычным трепетом ждал песню: «На муромской дороге стояли три сосны...» Во-первых, слова «муромская» и «камаринская» созвучны и близки, а во-вторых, дубов у нас было тоже три, и, я уверен, название деревьям заменили потому, что о соснах пелось приятнее, мягче. Слушая скорбное звучание застольного хора, представлял эти деревья какими-то сверхъестественными созданиями и был доволен, что не увидел их с близкого расстояния, сохранил их суеверно-сказочную таинственность. Эти три пятна на горизонте были как талисманы на счастье, их вечность обещала вечность и мне.

Грусть от прощания двух молодых людей под высокими соснами, оказывается, нужна была мне, она размягчала душу, давала силы, как сон после усталости. Помнится, еще в

дошкольном возрасте я думал, как бы плохо пелось, не будь этих трех сосен или дубов. Без них нет тревоги в песне, нет трогательного прощания в житейской разлуке. С годами я стал понимать, что прощания вечны и люди посадили деревья-талисманы, чтобы здесь непременно состоялась счастливая встреча,— три сосны и ни больше ни меньше.

На муромской дороге
Стояли три сосны.
Прощался со мной милый
До будущей весны.

Я знал, что в жизни все не так, никто у нас не назовет парня милым, но иные женщины пели почти со слезами, в этих словах подразумевалось что-то большое, близкое каждому, а что именно — я не мог объяснить. Даже не совсем складное продолжение, где он, прохвост, клялся и божился, пелось со святым трепетом и с тихой печалью.

Но сон мой совершился,
И раннею весной
Мой милый возвратился
С красавицей женой.

Я у ворот стояла,
Когда он проезжал.
Меня в толпе народа
Он взглядом отыскал.

Я верил, что измена — дело редкое и случайное, не каждому попадается красавица в далекой стороне. Значит, песня эта была предупреждением другим.

Глядя из Брудова сада в камаринскую сторону, я мечтательно думал об октябрьских праздниках, когда вся Лужна соберется в одном доме и можно будет опять услышать муромскую-прощальную. Но после того как побывал в городе, что-то изменилось в моем представлении о неохватных дубах. Кажется, появилось щемящее чувство утраты, эта поездка словно бы разрушила загадку трех великанов — я объехал их стороной и заглянул за перегородку мирка, созданного моим воображением. Мне теперь представлялись какие-то другие, неопределенные деревья, стоящие неизвестно на какой вершине. Под ними видел себя и Нину Паршину. Она машет вслед, а я иду неизвестно куда: то ли на войну, то ли на шахты. Как ни старался отгонять это видение, оно назойливо мельтешило перед глазами, а отогнать надо было, потому что мечты и реальность никак не согласовывались, неудача в ремесленном училище угасила мой пыл, разгоревшийся перед поездкой в город. Я несколько дней старался избегать встречи с Ниной, но, когда уже некуда было деться (она вышла загонять овец), неожиданно для себя решился,— как раз был удобный повод, привезли кинопередвижку в Ивановку.

— Нина, в кино пойдете? — крикнул ей, имея в виду не ее одну, а всех девчат.

— Собираются.

— Нин, не ходи, у него денег нету,— залетел Лента, ничего не подозревая, но его глуповатое уточнение оказалось к месту, оно сразу вывело разговор из неопределенности.

— А может, есть, твое какое дело? — ответила она с вызовом.

— Есть, есть,— подхватил я, вдохновившись неожиданным поворотом; той пятерки, что лежала в углу под столом, как раз хватало нам на двоих, и было еще два рубля, что остались от дороги,— это для Ленты, потому что без него что-либо затевать безнадежно.

— Если есть, зайдем, я лично буду свидетелем,— подхватил он.

— Без свидетелей обойдемся,— сказанула она. Лекта будто бы вывел меня за руку на самостоятельную дорожку, но я знал, что только с ним у меня будет все хорошо. Он

задержит Нину, потом оставит нас вдвоем, и тогда я расскажу ей о своей неудаче в училище, расскажу про курсы машинисток, выдам свои новые замыслы весной уехать в город, поступить на завод учеником токаря, хотя уже подумывал: а не пойти ли в десятилетку?

Ничего такого не случилось. Когда сестра ушла доить корову, я бросился отодвигать стол, но Б углу никакой пятерки не было. Я оказался в дураках. Просить у сестры после недавних пустых трат не мог, да и совестно просить целую пятерку. Оставалось только одно: признаться Ленте во всем и с его помощью придумать что-нибудь, чтобы оправдаться перед Ниной.

Придумали: за Лентой прибежал брат, мы ушли в Ивановку искать пропавшего теленка Кулагиных.

В Брудовом саду легко мечталось и фантазировалось, отсюда хорошо виден районный большак. Он спускается с лужникского склона к мосту через Ицку, идет по гати через луговину и на подъем, пересекает Ивановку пополам. Ивановский подъем короткий, но самый крутой на этом пути, в дождь машины тут всегда буксовали, в Лужне хорошо был слышен надрыв моторов. Весной сюда навозили песку, камней, сделали бульжный настил, и страдания шоферов на горке кончились. Говорили, скоро всю дорогу покроют асфальтом, и этот слух был, как видно, не пустой: со стороны станции бульдозеры и грейдеры начали делать насыпь и глубокие кюветы. Последний раз, объезжая эту насыпь, я посожалел, что изуродовали ровную дорогу, ставшую мне знакомой.

КРАСИВЫЕ КОСТЫЛИ

В тихий августовский вечер, когда мы подогнали стадо к деревне, я увидел с горки, как на большаке остановилась машина. С нее стал слезать мужчина, и ему кто-то помогал снимать вещи. Машина пошла, а мужчина как-то странно, рывками перемещался около них взад-вперед. Я понял, что это Петро на костылях, и побежал к большаку. Надеялся ошибиться, но это был он — Б модной зеленой тенниске с замочком, как у директора училища, одна нога в начищенном ботинке, вторая в носке, вытянутая и на весу. Не хотелось признавать его своим.

— Думал, дождусь ли кого, а ты как по заказу,— сказал он с улыбкой.

«Искалеченный, а горя не сознает»,— отметил я.

Петро легко натянул рюкзак на плечи, я взял тяжелый чемодан и сумку. Прыгал он проворно, оставляя отпечатки левого ботинка на пропыленной дороге. Расспросив меня про училище, стал необидно укорять:

— Да, хреновато получилось. Как это ты сглупил, неаккуратно повел себя? Додумался ввязаться в такое дело. Тут уж будь тише воды, ниже травы.

— А что, я не человек?

— Конечно, человек, не спорю.

На этом кончился весь его укор, заговорили о доме. Поменяв в руках вещи, я приотстал, и его рюкзак на зеленой тенниске, вытянутая вперед нога, отпечатки одинокого ботинка показали мне какой-то житейской несуразностью, которая войдет теперь в устоявшуюся жизнь нашей семьи.

Первыми увидели нас близнецы. Пашка побежал к хате, что-то закричал, а Сережка — к нам, звенел-смеялся колокольчиком:

— Папка, папочка приехал!

Петро наклонился, приплюснул его лицо к своему лицу, пошебаршил волосы. Из прогона выскочила Сашура и тут же, на углу палисадника, остановилась, выдохнула:

— Вот оно как.

Развязала у подбородка платок, совсем некстати оперлась на кривую березку, которая держала огорожу и своей выпирающей загогулиной нависала над колыями. Остановился и настороженный Пашка, вцепился в руку матери.

Она стянула с головы платок, тяжело пошла навстречу, а Пашка все так же держался за руку,

но теперь уже почти скрываясь за ее спиной.

— Господи, окалечили. Проводила на своих ногах, а встретила на подпорках. За что на нас отовсюду такие напасти?

Петро, расставив костыли пошире, одной рукой неловко прижал рыдающую Сашуру к груди, водил подбородком по ее волосам. Пашка отступил от них, вцепился в мою рубаху, держа палец во рту, Сережка с интересом ощупывал костыль.

— Как я этого боялась.

— Да что ты паникуешь? На своих же пришел, не в коляске. Не пугай ребят, пойдем в хату.

— Неужели мы самые грешные? Или наша доля такая, наречено это от рождения?

— Что бог дает — все к лучшему, — выразился он материнской поговоркой.

— Все кому-то мало, все на нашу головушку валится, — продолжала приговаривать сестра.

Она, конечно, имела в виду не только это несчастье, но и мой провал в училище, а я стоял около чемодана, околдованный этими причитаниями, не зная, идти вперед или оставаться пока здесь.

— Ерунда все это, — убеждал Петре, — перемелется, отрегулируется. Наша жизнь как лозник — гнется, да не ломается.

Сестра взяла Пашку за руку, подтолкнула вперед. Он попятился, стараясь поймать рукав моей рубахи, но она подтолкнула его настойчивее.

— Чего ты боишься? Это ж твой папка.

Петро с трудом наклонился, чмокнул его в щеку.

— Как вы тут? Мамке помогаете?

Пашка кивнул, а Сережка показал на костыль.

— Пап, мне сделаешь? Я тоже хочу. — Он с затаенным трепетом потрогал нижнюю часть деревяшки, как трогают дети какое-нибудь боевое оружие.

— Сынок, у тебя такие хорошие ножки, к чему костыли? Я сам их скоро выброшу.

— Хочу костылять. — Почему?

— Красивые.

— Ладно, ходули сделаю, как подрастешь. Будешь шагать великаном. А Павлухе ружье. Ружья-то я вам обоим выстрогаю.

— Мне первому ружье.

— А мне ружье и ходули.

Довольные ребята пошли с отцом, держась за костыли, которые он едва-едва переставлял.

Сашура опять всплакнула, а тут Сережка с вопросом:

— Пап, ты другую мамку прогнал?

— Какую другую? Это ты что-то не понял.

— А ты к ней больше не поедешь?

— Да никуда я больше от вас не поеду, с чего ты взял.

Это было слишком. Я обогнал их, прихлопнул по чемодану:

— Кто за мной? Кому гостинцев? Они оставили отца, побежали ко мне. В хате мы начали требовать чемодан. Петро сам разложил на столе подарки, высыпал гостинцы: печенье, бублики, консервы, колбасу. Поставил и бутылку коньяка.

— Что это ты, как купец, соришь деньгами? — упрекнула Сашура. — Сам, поди, впроголодь жил?

— Да ну-у, впроголодь. Деньги есть, ребята собрали на дорогу. Вся бригада. Из вещей что в чемодан вошло, то и привез. Остальное посылками пришлют.

Петро сидел на лавке, положив негнущуюся ногу на табуретку, а ребята держали по костылю, терлись около отца и перебивали вопросами. Ок или отвечал рассеянно, или просил погодить, а когда пошел разговор о больной ноге, уступил. Приподняв штанину, звонко пощелкал ногтем по зашнурованной дудке и объяснил:

— Это называется тугор, не гнется и не ломается. Зачем? А чтоб коленку не зашибить.

Ребята осторожно постукали пальцами по дудке с потешным названием и засмеялись. Сережка спросил:

— А под ней не болит?

— Все равно болит.

— Ты толстую надень.

— Ладно, ладно, сынки, дойдет очередь и до толстой. Погодите, дайте с мамкой поговорить. Он рассказывал о больнице и о своей работе в плотницкой бригаде, а она все спрашивала о том, можно ли ему было сделать то или другое как-нибудь получше. Ребята торопливо ели гостинцы, будто соревновались, кто больше осилит. Пашка пригляделся к коньяку, дернул отца за руку:

— Пап, а пап. Па-а-а-пка.

— Не мешай, сядь,— приструнила мать. Пашка надулся, затих, а отец спросил:

— Что ты хотел!? Я слушаю.

Он оживился, показал на коньяк:

— Это вино военное?

— Почему военное?

— Звездочки.

Петро рассмеялся, погладил сына.

— Ах ты, хитрюля. Надо ж додуматься.

— Он у нас такой,— похвалила мать.— Тихоня, а что увидит, обязательно расспросит. Любит рисовать самолеты, танки, флаги и обязательно звездочки на них. Мудреный.

— А правда, почему звездочки на бутылках? — удивился Петро.— Если по-настоящему разобраться, это ж отрав.

— Отрав, а пьете.

Близнецы наелись колбасы, пряников, печенья и пошли к ведру пить, стали вырывать друг у друга кружку. Сестра угомонила их, напоила и выпроводила за дверь. Теперь она заговорила обо мне:

— Ну, а Иван наш в историю попал в своем ремесленном. Я тебе писать об этом не стала,..

— Да он рассказывал.

— Рассказал уже? Видишь, как получилось. Я ему говорю: все у нас в семье кувырком. Драчун никудышный, нескладный, вот и попадает в истории. Ловкий-то и за себя постоит, и вывернется, а такие, как он, вечно расхлебывают.

— Да, это безобразие с их стороны,— вступился Петро.— Невинному человеку от ворот поворот. Жалко, что костылями я связан, а то съездил бы туда, спросил бы, как положено к сиротам относиться. Ничего, мы еще посмотрим.

Я попробовал все перевести на шутку:

— Зато весу и росту с запасом.

— Это молодец, хорошо поправился,— поддержал зять и кивнул: — Вишь, как поддурманился. А я думал, все такой же дохлик.

— Еще бы не поправиться, харчи дармовые,— согласилась сестра.

Шутка моя получилась неуклюжая, и теперь я показался себе дармоедом, который поддурманился за чужой счет. Дал сестре сдачи:

— Харчи дармовые, а бригадир уговаривал меня целый час.

— Так для нашей же пользы.

— Да будет вам, ни к чему это,— остановил Петро.— Что бог дает, все к лучшему,

— Бог, да не будь сам плох,— повернула сестра по-своему.— Как хорошо, если бы ты отстерег до осени, а он там специальность получил бы.

Петро поддержал ее:

— За город, Иван, надо цепляться, А то вот видишь? Калека, а пенсию мою леший съел.

— Если вам город нужен, в ФЗО пойду,— пригрозил я.

— Что — ФЗО, каменщиком быть интересу мало. Это лучше учеником на стройке, будешь под приглядом у Зинки. Весной как раз шестнадцать тебе сровняется, вот и поезжай к ней. И сварит, и стирает. Один ты не проживешь. Эх-х, ч-черт,— без особого азарта сокрушался Петро,— мне б мои шестнадцать лет и здоровые ноги.

Поговорили про Зину, и Петро подытожил:

— Она теперь горожанка, на белом коне не подъедешь. Сказала, чтоб ждали к покрову дню в отпуск с моряком.

— Как с моряком? — удивился я. — А говорила что? Письмо просила.

Сестра промолчала, а Петро рассмеялся, щипнул меня за ухо.

— Во трепачи, — возмутился я и вышел из хаты. Представил себе огромного дядю в морском бушлате, и стало стыдно перед ним, неизвестным человеком, за письмо, которое я сочинил по просьбе сестры.

КАВЕРЗНЫЙ КНУТ

Давно не было на нас никаких нареканий, и дед Сема, довольный хорошим обхождением со скотиной, пообещал сделать кнут. Мы почти каждый день спрашивали, напоминали, дед ссылался то на нехватку пеньки, то на занятость, а когда Лента сказал, что скорее научит козла танцевать под балалайку, чем подержит кнут, он указал точный срок.

Этот срок пришел. Сема встретил у своего дома, выгоняя коз, на руке у него был накручен кольцами кнут — замысловато витой, с коротеньким кнотовищем.

— Думаю, на вас можно теперь надеяться, зря баловаться не станете. Конечно, кнут нужен. Зверя пугнуть или корове какой дать острастку. Раз положено иметь... Милиционеру — пистоль, пастуху — кнут. Даже вон в цирке с хлыстом работают. Главное, чтоб с понятием распоряжаться.

— Спасибо, дедуш, — просиял Лента.

— На здоровьице. А конец уж вы сами будете доплетать по мере надобности.

— Мы из ремешка сделаем.

— Можно и так. И хорошо б солидольчиком или маслицем все кнотовье пропитать. По мокрой траве пока особо-то не шмыгайте.

Лента нес кнут на руке, чтобы не пачкать. Опробовали мы его только часу в десятом, когда на опушке на самом припеке роса пропала. Я пробежался босиком по этому месту и определил, что можно начинать.

Лента начал первым, а я стоял у него над душой, тянул руку. Мы выхватывали друг у друга кнут, беспрестанно хлопали. Потом начали соревноваться, отрабатывая выхлесты на точность. Намечали ветку, нависшую над землей, или головку татарника и стебали, пока цель не падала или не обвисала лохмотьями. Но и кнут укорачивался от петли к петле.

На второй день Лента пришел с балалайкой. Утром, еще при росе он заиграл «Светит месяц», привлекая козла Колю. Тот долго приглядывался, но осмелился, подошел. Он шевелил губами, будто ловил забытый запах.

И тут мне пришла идея:

— Лень, давай приучим коров собираться по кнуту. Один будет хлопать, а другой выгонять из кустов.

Лента неожиданно согласился:

— А что, в цирке-то хлопают. — Он принял картинную позу, изобразив нежным движением руки щелчок кнута, как это показывали в кино об укротителях. — Парад алле!

Едва мы начали приучать коров к сбору по выстрелам кнута, как случилось происшествие, которое порушило наш план.

После того как прошел сенокос, стадо стерегли на лугу, вдоль которого тянулась деревня, и на узкой полоске пара у самых огородов. Эту площадь луга в полкилометра длиной после уборки сена никогда не заказывали на отаву, надо ж и скотине хоть немного разгуляться.

День был тоскливый, небо осунулось, и пошел сеять-пылить почти невидимый дождь. Мы устроились под плотной кроной раkit, а стадо разбрелось по лугу и пригорку. Козы и несколько коров ходили вблизи раkitовой обсадки, у огородов. Лента хватился первым:

— А где безрогая? Не к Зиновеичу нырнула? Присмотрелись к стаду, но Любку не увидели.

Побежали

вдоль огорожи, и у Зиновеичевой калитки поняли, что комолая здесь: калитка повалена, следы на мокрой дорожке. Мы стояли в нерешительности, вглядываясь в прогалки между яблонями, но корову не видели. Значит, пробралась к самому дому, где была морковка и капуста.

— Пойдем? — отважился Лента.

Только вошли на огород, послышался приглушенный крик Зиновеича, шум листвы и картофельной ботвы. Из-за последней яблони среднего ряда показалась Любка, и мы, освободив ей проход, выскочили с огорода. Зиновеич, не видя нас, с руганью рванул наперехват с коромыслом, погнал ее на проволоку, чтобы прищучить в самом углу и хорошенько отмолотить.

Лента метнулся вдоль проволоки, выходя навстречу комолой, замахал на нее, заорал с надрывом:

— Куда ты ее на проволоку, дурак! Что ты делаешь!

Зиновеич остановился, бросил в межу коромысло, выждал, пока корова проскочит через калитку. Мы с Лентой направились за комолой к лугу, ко он вышел следом, окликнул сдержанно:

— Погодите-ка минуточку.

Этот тон не обещал ничего доброго, но по-ребячьи убегать, как убегают из сада с яблоками за пазухой, нам было не к лицу. Зиновеич без видимой угрозы подошел к Ленте, спокойно взял его за ухо и потянул назад, приговаривая:

— Ты, умник? Умеешь хамить старшим? Пойдем, я покажу тебе, что она там натворила. Я тебя взгрею за весь убыток. Хамить умеешь, а за коровами должен глядеть посторонний дядя? Пойдем, пойдем...

Лента бросил кнут и послушно пошел, раздражаясь:

— Брось. Брось ухо.

— Нет, пойдем, ткну носом.

— Пусти, бр-р-р-р,— требовал он угрожающе.

— Отпущу, только ткну носом.

Я стоял как оплеванный, как ребенок, которого не считают нужным даже поругать за проказы, наказывая взрослого. Чтобы поставить себя на уровень с Лентой, догнал их и дернул Зиновеича за рукав.

— Отпустите.

— Сию минутку.

Зиновеич свободной рукой потянулся к моему уху, а Лента уловил момент, вырвался и побежал назад, подхватил кнут. Раскинув его во всю длину, с оттяжкой пустил понизу, стеганул ремненным концом по штанам. Зиновеич сделал громкий вдох «ы-ы», растирая ногу ниже колена, где обозначилась грязная полоска. Но не погнался, не закричал, только сказал презрительно:

— Ах, поганец, это уж каталажкой пахнет.— Приподнял штанину, потрогал больное место и еще пригрозил: — Ладно, я тебя определю куда следует.

Мы согнали всю скотину на луг и долго не могли опомниться. А когда все взвесили, поняли, что наше дело пахнет керосином, как говорили у нас в деревне. В этот раз Лента ушел домой и предупредил, чтоб завтра я его не ждал.

По Лужне покатались разговоры, что мы неисправимые кожелупы: мало того, что бьем скотину,— добрались до людей, и дурак будет Зиновеич, если простит. Дед Сема был защитником.

— Плохо, конечно, получилось,— говорил он.— Я пока вот чем порадую. Семериха сказала: если Зиновеич с вас сдерет по суду, она заплатит. Это вы молодцы, что корову не дали в обиду. История неприятная, но у меня есть кое-какие соображения, обойдемся без Семерики. Лента отсиживался дома, и мы стерегли с Петром. На четвертый день к стаду прикатил на двуколке участковый милиционер Одинок. Остановился, спросил, не слезая:

— Иван Селезнев? Ага, попался, который кусался.
Он огляделся, о чем-то поразмыслил и нехотя соскочил с двуколки.— А это кто там?
— Это мой зять. Мы с ним пока стережем.
— Верно ты сказал: пока. Вот пересажают вас с этим Кулагиным...
— Пусть.
— «Пусть»... Лихачи какие нашлись. А если б глаз высек? С войны человек пришел живой-здоровый, а от вас инвалидность.
— Он целил понизу.
— «Понизу»... Меткачи какие.
Одинокое взял свою планшетку, сел на траву и стал расспрашивать о Ленте и о том, как было дело с Зиновеичем в тот день.
Припрыгал к нам Петро, сел рядом с милиционером, поставив костыль у ног, как ружье. Одинокое заполнил листок, дал мне расписаться. Сложил все в планшетку и встал.
— А что ж вы плохо стережете? — Он произнес это так, будто речь шла о том затянувшемся дожде.
— Она корова такая.
— Ну-у-у, корова... Пастухи такие. Вмешался Петро:
— Да что там у него побито? Не будет она сейчас капусту жрать. Ну, может, затоптала пару кочанов, это у каждого так бывает: не скотина, так гуси залезут.
— Есть, есть затоптанные,— подтвердил Одинокое.— Что ж вы так распоясались, Иван? Поди, весь скот застебали.
— Мы совсем не стебали.
— Зачем врать? Брось ты эти замашки.
— Не стебали мы.
— Совсем ангелы. Для чего ж кнут таскаете? Для прислови я?
— А так. Хлопнуть, припугнуть.
— Да-да, это серьезно, товарищ сержант,— подтвердил Петро.— Им дед Сема и свил кнут из-за того, что хорошо обходились со скотиной. Ни у одной коровы рубца нету, спросите у любого.
— Вот, елки-палки.— Одинокое толкнул картуз на затылок.— Это прямо какая-то комедия: скотину жалеете, а человеку врезали. Ну, потеха. Сами виноваты и еще врезали вдобавок.
Петро тыкнул:
— Так за коров дед Сема их строго предупредил, а насчет людей не догадался.
— Он за ухо тянул,— защитился я.
— Ну, «за ухо»... На то оно и ухо, не барские сынки. То обошлось бы, а теперь вот карусель закрутилась. Взгреют за ущерб и за хулиганство. А вот по-честности, Селезнев, как сам-то думаешь, причастен к этим побоям?— Обои виноваты,— сказал я.
— Вот за это молодец, что не топишь друга. Значит, хорошие 'товарищи.
— Вы уж не давите их,— попросил Петро.
— Да я тут причем? Мое дело разобраться. Того тоже жалко, нос повесил. Мать плачет...
Ладно, поехал я, бывайте.
Одинокое сел в двуколку с мягкими рессорами и заколыхался по неровному лугу.
— Он мужик неплохой,— заключил Петро.
Утро было чистое, небо без пятнышка. От речки из лозняка слышались пересвисты пичуг, порхавших над водой. Где-то заревела корова, прострекотала грядками телега — это отпустили у лошади поводья под горку. Звуки, голоса еще звучали по-летнему, но многое изменилось в своем цвете: и луговая трава, и убранное поле справа от Ивановки, и даже конопля, хотя была еще по-прежнему зеленой. Август подходил к концу.

ПОВОРОТ НА СТО ВОСЕМЬДЕСЯТ

К полудню, когда коровы легли, я пошел к Ленте в Ивановку. Рассказали друг другу все

новости, и мать его, Настя, совсем перепугалась. Она стала уговаривать Ленту, чтоб попросил у Зиновеича прощения, только бы закрыл судебное дело, а он морщился, трогая пальцами ухо, не соглашался с нею.

— Сынок, бестолочь, вы ж сами виноваты, прозевали корову,— вразумляла Настя.— Не попади она на огород, и Зиновеич был бы хорош. Вот прижучат рублей по пятьдесят, это три курицы. Да за потраву хлебушек не отдаст, а то осудят вовсе. Почешешь затылок.

— Рассчитаемся, пуда два продам.

— Да твои пуды еще на поле растут. Случись что — прогонят.

— Теперь не прогонят.

— Вот дети натурные. Никого не убедишь, никому не докажешь... — Отругав, она стала уговаривать снова: — Леня, милый, сходи. Тебя от этого не убудет. Что тебе дался с этих лет гонор? Раста да приглядывайся, где лучше свой гонор применить.

— Ты ходила к Сигаретке? Что она тебе нагадала? Карты никаких слез не показывают. Все.

— Она правильно и сказала. Видно, тебе не миновать дороги к Зиновеичу, надо покориться. Сходи, сынок, обойдется. Небось не повлияет на твой гонор. На Полю надейся, а сам ухо держи востро.

Лента уступил, и мы пошли в Лужну. Вернулся он к стаду от Зиновеича расстроенный, поминутно курил и ругал то его, то свою мать, то себя за то, что поддался ее уговорам. «А я вон сколько ждал тебя,— сказал ему Зиновеич.— Оно, знаешь, дорого яичко к праздничку. Что ж теперь, когда всюду нашумели. Опоздано».

Я вспомнил мать в ногах у Зиновеича, и стало горько за Ленту, согласившегося на такое унижение. Сказал ему:

— Зря ты поперся к Зиновеичу.

Платить за «потраву» нам пришлось обоим, и это был первый случ&й в Лужне. Всякое бывало: били скотину, неистово ругались, неделями не разговаривали друг с другом, ко до милиции и суда дело не доходило. Поэтому многие теперь осуждали Зиновеича, называли его мелочным человеком. Но все это были окольные разговоры.

Всерьез взялся за него дед Сема. Переговорил с людьми и послал по домам со списком свою внучку, чтобы собрала деньги для Зиновеича, А Ленка — девка бедовая. Побежала по деревне и будто бы по детскому неразумению зашла к Зиновеичу, сыграла заданную ей роль. Тот опешил, он никогда не уходил ни от мужских компаний, ни от общих решений и особенно сейчас боялся показаться жадным. Времени на размышления у Зиновеича не было, Ленка торопилась:

— Не дадите?

— Почему? Я как все.

Он раскрыл кошелек, подал трояк.

— Некоторые по пять рублей дают,— кротко довела она до его сведения и отделила от горстки бумажек пятерку, которую дед приготовил ей для розыгрыша.

— А ну?

Зиновеич развернул список, но и тут Сема оказался предусмотрительным. Против одной фамилии стояла цифра «пять», хотя на самом деле хозяин этот отказался дать, сославшись на то, что мелких денег нет ни рубля.

— Можно и пятерку,— согласился Зиновеич. Раскрыл бумажник и выщипнул из стопки трояков еще один листик.

Ленка записала шесть рублей и мотанулась из хаты.

Дед Сема пришел к нам на луг утречком.

— Скажите, отроки, денежный сон никто из вас не видел? Ладно, может, видели, да заспали.

Получите свою первую плату.— Он протянул Ленте деньги, обернутые газетой, и напомнил:

— Там на восемь рублей больше, чем вам присудили. Ну, сколько есть, все тут. Полкило леденцов купите.

Лента деньги взял так, будто ему дали подержать на минутку, пока владелец, к примеру, переобуется.

— На леденцы надо Ленке.— сказал он.

— У нас с ней свой расчет, она не обижена. Прячь, прячь в карман. Между прочим, там и Зиновеичевы шесть рублей. Самые красивые тройки — это как раз его.

— Может, отнесть ему эти шесть рублей?

— Избавь бог, всю малину испортишь,— предостерег дед.— Пусть подумает. Это хорошо, что ты сходил к нему с извинениями. Ленка тоже молодцом держалась. В общем, мужик попал впросак, теперь, поди, и свои рад отдать, только чтоб очиститься от греха. Получилось, что не с вами судился-рядился, а с обществом. А это совсем другой коленкор. Семериха чуть не сглупила, хотела одна ему заплатить. Зачем? Ни в коем разе. Общество заплатило, и он сам в том числе. Улавливаешь разницу? На сто восемьдесят градусов дело повернулось.

Говоря про Зиновеича, Сема не упрекал нас, и от этого вина перед ним и всеми лужнинцами, собравшими деньги, чувствовалась особенно обостренно. Наверное, от этого самого чувства Лента сказал:

— Не знаю, как сорвалось. Уха загорелась, злость взяла.

— Что было — ладно, и тебе, и ему наука. А может, и хорошо, сдачи тоже надо давать. Что за убожество — дубьем скотину. Помнишь, фуфайку сжевала? Кто тебя пожалел? Вот то-то, поделом.

Сема достал кисет, закурил. Мы увидели, как от Лужны вниз по пешеходной дорожке, что вела напрямую через луг и речку к Ивановке, шли несколько человек с сумками, сетками и чемоданами, строго одетые.

— А это какие ж отпускники на большак топают? Не Савелий ли Конищев нынче отбывает? Провожающих что-то много.

Савелий шел впереди с чемоданом на плече. Рядом — его сестра, тетка Нюра, а сзади еще четыре человека. Двое уезжали с ним — дальний родственник Лесик Конищев, вернувшийся из армии, и племянник Валька, мой ровесник. Он давно твердил, что умотает к дяде.

Уехал Савелий в Поволжье еще до войны, стал начальником цеха на текстильном комбинате. Приезжая в отпуск, или забирал с собою кого-нибудь из родственников, или договаривался, назначал срок.

Когда эта процессия поравнялась с нами, проходя метрах в тридцати, Сема окликнул:

— Савель Серафимыч, уводишь помаленьку наши кадры?

— Увожу, старина.

— Ну-ну, обтесывай их. А взамен никого не пришлешь?

— У вас и так тут Китай.

— Серафимовна, сама-то не забудь вернуться,— зацепил дед тетку Нюру, Валькину мать.

Она даже не взглянула в нашу сторону. Отмахнулась, перехватила Валькин чемодан другой рукой. Валька показал нам на прощание кулак, мы погрозили ему.

— Вот оно как, тоже не нынче завтра будете тикать,— сказал Сема.

— Я в ФЗО,— сознался Лента.

— Тикайте, тикайте, а я тут буду и косою махать, и колбасу вам выращивать.

— Я перед армией, как брат подрастет,— уточнил Лента.

Пока мы говорили, стадо рассеялось, козы и несколько коров были, у самых огородов. Дед подсказал:

— Вы давайте наверх, а я потопаю.

Едва Сема вышел на тропку, Лента побежал наверх, к огородам, а я подумал о двойственности Зиновеича.

Затеял судебное дело и сам же вместе со всеми заплатил нам деньги. Ко всему этому вспомнилось, как Зиновеич поймал капканом хорька. Когда я прибежал на визг, там уже собрались любопытные. В одной руке Зиновеич держал курицу с завязанной ногой, которая была перекусана, и с остервенением лупил хорька палкой, а тот оглушительно верещал. «Так тебе и надо»,— думал я, глядя на этого корноухого зверька, дергавшегося в капкане. А вот теперь знал, что зверек задуман природой, она ему предназначила питаться не кореньями и

травой, а живностью, и в этом его несчастье. Все как будто понятно, но откуда взялась жестокость у человека? У Зиновеича было ружье, и он мог бы застрелить хорька, а вот колотил его, удивляясь живучести, и все удивлялись вместе с ним. Забинтовал ногу курице, которую все равно резать, но чуть не отдубасил комолую Любку коромыслом. Мысль моя переметнулась к чужим ласточкам на проводах и к своей ласточке, которая жила рядом. Мне ж и теперь было соблазнительно швырнуть палку в пролетающую касатку, но сдерживал себя от этого соблазна. Выходит, природа дала человеку разум, а он не может им распорядиться правильно? Почему она этому не научила его?

Но кто это Он? Человек, о котором я думал, представлялся почему-то Зиновеичем. Я соединял все хорошее, что было в его характере, в поведении: в трудное время мог одолжить любые деньги, и особенно был щедр под пьяную руку, в семье у него порядок, ребята все аккуратные и послушные, хороший хозяин. Так чего ж в нем больше: жестокости и жадности или доброты и аккуратности? После недавнего происшествия мне казалось, что вот еще случится что-нибудь у Зиновеича, и я пойму окончательно, разберусь в его характере.

Скоро и случилось. Вечерком дед Зайцев пришел к нам, рассказал такую историю. Заявился к нему Зиновеич, говорит:

— Вот, старина, твои деньги.

— Это не мои, а общественные, не путай.

— Ну, не знаю, не мое дело. Ты организовывал, старался, вот и забери их. Ведомость, поди, еще цела?

— Да ты тогда уж сразу возьми свои шесть рублей, я их вычеркну. Распишись в получении. Зиновеич сильнее обычного хлопнул дверью. Дед посчитал деньги — не хватало шести рублей.

Всю пачку трояков и рублевков Сема отдал мне:

— Разделите с Ленькой.

— Зачем?

— Это ваши, премия за хорошее отношение к коровам.

— Значит, совесть есть у человека,— сказала сестра о Зиновеиче.

— А-а,— махнул дед.— Совесть для личного обслуживания.

Этот случай не только не прояснил, а еще больше запутал мои рассуждения о Человеке с лицом Зиновеича. С одной стороны, принес деньги, с другой — взял шесть рублей, Но я считал, обязательно разберусь, что за гусь этот Зиновеич и почему у него совесть для личного обслуживания.

СЮРПРИЗ С ЗАПОЗДАНИЕМ

Еще в середине лета в Лужне провели радио, по домам раздали черные тарелочки, и вот эти тарелочки заговорили. Теперь что ни час, то новости, от которых захватывало дух. Люди обжились на Северном полюсе, строили электростанции, новые города на голом месте и сами рассказывали об этом. Живые голоса, личные впечатления — все это вот оно, над ухом. Мир перестраивался, совершенствовался. Сообщалось о машинах, что сами считают лучше бухгалтеров и даже складывают стихи, о капиталистах, которые уже соскучились по войне. Невероятными были доверительные рассказы бывалых людей о том, что теперь есть самонаводящиеся пушки к плавающим танкам., а самолеты летают с такой скоростью, что если высунуть из кабины руку, то ее оторвет встречным потоком. Это будоражило воображение, и думалось о городе, где происходят главные события века. И город протянул мне руку.

Разные бывают неожиданности, но это письмо из ремесленного училища можно сравнить с сентябрьским снегом. В нем говорилось:

«Уважаемый тов. Селезнев И.М. Приемная комиссия ремесленного училища приняла к сведению ходатайство Сосновского районного отдела народного образования о зачислении вас в училище, как не имеющего родителей, и предлагает приехать для рассмотрения

данного вопроса. При себе иметь все необходимые документы и желательную характеристику правления колхоза. Директор училища Поповский С.О.».

Сердце у меня затаилось, в горле стало першить. Но при чем тут роно? Я никогда не обращался туда и не слышал, чтобы кто-нибудь собирался ходатайствовать.

— Кто это хлопотал? — спросил я.

— Что будешь делать? — переспросила сестра.

А я и не знал, радоваться или огорчаться. И вот часто так бывает: когда просишься со слезами — отмахиваются, а настроишься на что-то другое — приманивают. Я уже отвык от мысли о ремеслухе и доволен был, что остался в деревне. Теперь опять волнения. Как быть, на что решиться? Это хорошо знал только Петро:

— Поезжай, нечего раздумывать. Цепляйся за город, пока момент выпал.

Его агитация почему-то вызывала во мне обратное желание. И это желание подогревали мысли о хулиганах, из-за которых в августе вернули мне документы, о высоком мастере училища, о лакомствах, которые постоянно будут нервировать при безденежье. Вот только эта строгая черная форма, из-за которой и фигура опрятней, и вид строже. Живо представилась машинистка Людмила Викторовна. Наверно, это она печатала мне вызов и кое-где приложила свою руку: в одном месте вверху аккуратно подставлена пропущенная буква, в другом два слившихся слова разъединены палочкой с поперечинами вверху и внизу. Я растерялся. Сестра неуверенно стала отговаривать:

— А может, и не к чему теперь ехать. Закончил бы сезон, а уж на следующий год с этой бумажкой. Можно так и написать туда, не поймут, что ль? Ты ж не баклуши бьешь, делом занимаешься.

И тут выдал себя Петро:

— Я не пойму, Саш, тебя. Мы же договаривались. Зачем я ездил в роно? Людей баламутить?

— А мне его жалко, простачка. Затеряется в городе, не приживется там.

— Как хотите, дело ваше,— обиделся Петро и вышел, громыхнув у порога костылем.

— Думай сам,— отступила сестра.

Я возгордился зятем, рад был за их супружеский секрет. И, получив самостоятельность, оказался еще более растерянным. С одной стороны, пастушеский сезон показался слишком долгим и хотелось быстрее закончить его, а с другой, удерживало чувство мужского достоинства, желание довести дело до конца.

— Оставайся, Ваня, подрастешь — и без ремесленного на завод возьмут,— твердо сказала сестра.

После этих слов опять подумалось об училище, и я решил: что скажет Лента. На второй день показал ему бумагу. Он достал портсигар с табаком, оторвал листик от газеты и, только когда свернул себе плотную сигарку, рассудил:

— Ехать, конечно, надо, не каждому такие бумажки присылают. Я б, например, поехал, а ты сбежишь. Там все уже огляделись, будешь как белая ворона. Достережем сезон, будем поплевывать в потолок всю зиму, как паны.

Лента угадал мой порыв, и желание, в котором я еще боялся признаться себе, обрело ясные очертания.

— Правильно я сказал? — продолжал Лента.— Оставайся. Хочешь, брошу курить? Вот.— Он стрельнул сигаркой, и она улетела метров на десять. Вытащил портсигар, сыпанул из него табак в крапиву.

Я спрятал бумагу в карман с полной уверенностью, что обязательно покажу ее Нине.

Прошло еще два дня. Я почти успокоился, смирившись с потерей училища, а тут новые волнения — пришел Трескин.

— Иван, я по серьезному делу.

В эти мгновения мне вспомнились те неприятные минуты, когда он приходил по мою пастушью душу, когда назначал косить.

— Науку пастуха ты освоил, нечего сказать. Но пора и технику в руки. Колхоз посылает в училище механизации молодежь, восемь человек. Давай-ка и ты, Петро твою науку теперь

завершит. Через шесть месяцев будешь трактористом и комбайнером. Словом, механизатор широкого профиля.

Я уже знал, как вести себя в таких случаях, и молчал, выжидал, что скажут сестра и зять.

— Какие ж привилегии за это, Егорыч? — спросил Петро.

— Хорошие привилегии, — выпалил бригадир, словно ждал этот вопрос. — Стипендия четыреста десять рублей — целая зарплата у разнорабочего в городе. Колхоз даст центнер хлеба, как " безвозмездное пособие. Ну и все остальное: форма, трехразовое питание, общежитие.

Я раскрыл свои карты:

— Не пойду. Я даже от ремесленного училища отказался.

— Даже... Ты помнишь, от стада отказывался, а теперь за ухо не оттащишь. Так? Нет?

Я смолчал. Меня не привлекали ни механизаторская форма, ни деньги, потому что не тянуло к технике. Знал, что учиться идут на механизатора те, кто кончил по четыре, по пять классов, так что это не по мне.

— Надо подумать, Иван, — сказал Петро.

— Не пойду, не сватайте. Трескин наседал:

— О, брат, от техники теперь никуда не уйдешь, на днях

пригонят два ДТ-54, а это тебе не НАТИ. Фунтик прислал письмо, скоро демобилизуется, сядет на новый трактор. Хочешь, с ним в паре работай.

— Пыль глотать?

— А ты как думал хлеб зарабатывать? В белых перчатках?

— На завод пойду.

К моему удивлению, Трескин отступил:

— Воля хозяйская.

Едва он вышел, Петро сказал:

— Зря ты, Иван, упираешься. Два месяца — и велосипед купил бы.

Он знал мое слабое место, но соблазнить не сумел.

МУЗЕЙНАЯ МОНЕТА

Никогда раньше не думал, что пастухи так привлекают приезжих горожан. Заметил, что каждый, кто любит окрестностями, старается завернуть к стаду, чтобы поговорить, расспросить, хотя чаще получается так, что больше объясняют нам. Думалось, делают это для того, чтобы утвердить себя: вот-де, я городской, а знаю все сельское лучше вас, местных. По-настоящему удивил нас Жора Королев, сын Анисьи, у которой мы вместо сахара сыпали в чай манную крупу. Он кончил десять классов, институт, стал работать прокурором и женился на дочери какого-то генерала.

Мать не пускала Жору в десятилетку — только-только война закончилась, а он настоял на своем, и все удивлялись, откуда у него такая настырность. Хулиганил, чудил — и вдруг потянуло к образованию. Бывало, идет из Сосновки на выходной, холодно, а на голове картуз, ботинок проволокой перетянут. Идет, поскрипывает снегом и книжку на ходу читает. Потом сколько было разговоров в Лужне: Королев пошел учиться на прокурора. В этом слове чувствовалось что-то властное, сверхчеловеческое, недоступное.

Я видел, как Жора поднялся к Сечину с противоположной от нас стороны и, обогнув лес, по опушке вышел к Бруцову саду. Был он в костюме синего цвета — это о таком костюме я мечтал, когда представлял свой пиджак на плечах Нины Паршиной. Жора подтянул брюки к коленям, присел рядом. Стал расспрашивать о наших наблюдениях за разными травами, птицами, за коровами и овцами. Мы путались, с трудом сводили концы с концами в своих познаниях. Но последним вопросом Жора нас доконал:

— А вот интересно, сможете сказать, с каких ног начинает ложиться корова и с каких вставать?

— С передних ложится, с задних встает, — ответил Лента.

— С задних ложится, с передних встает,— поправил я.

— Нет, с передних встает.

— С задних.

Мы совсем запутались и удивлялись тому, что за все лето даже не заметили, как же все-таки встает корова, хотя все это происходит каждый день на наших глазах. Жора самодовольно улыбался и свою загадку раскрывать не хотел.

— Все ясно, не знаете. Начнут вставать, посмотрите. Не будь постороннего, мы тут же подняли бы первую с края корову.

Поговорили о пастушестве, расспросили Жору о его прокурорской работе. Мне вспомнились слова Анисьи Королевой о двадцати копейках, что спрятал он когда-то между потолком и матицей.

— Нашел свои двадцать копеек? — спросил я.

Он взглянул на меня, улыбнулся одной щечкой.

— А ты откуда знаешь?

— Мать говорила.

— Что вы подумали? Жадный, да?

— При чем тут — жадный, дело в интересе,— прояснил Лента.

— Почти верно. Только чуть-чуть поправлю: в памяти все дело. А память — она воспитывает лучше всяких слов.

— Дураку понятно,— бездумно поддакнул Лента.

— Дураку все всегда понятно, а вот до умных не до каждого доходит,— подкузьмил Жора.— Вы, конечно, ребята серьезные, меня поймете.

По привычке Лента должен был и здесь поддакнуть, но промолчал после такого подзатыльника.

— Вы видели, братеник мой снял крышу на старой хате? Эту хату в сорок третьем, после освобождения местности от немцев, мы поставили. Кое-как, наспех, жить-то негде было. Теперь вот построились, а эту на топливо... Ну, когда написали мне, я попросил подождать. Представь себе, Лень, из-за монеты двадцатикопеечной. Дело это было в сорок четвертом, Я учился в седьмом классе, в школу привезли тетради, а денег в доме ни копейки, как назло. Сидим с матерью, думаем, где достать. Тут приходит мой дядька Захар из Заревки, мужик он был прижимистый. Стал шарить по карманам и, как сейчас помню, нашел четыре монеты по двадцать копеек. Я обрадовался, все-таки четыре тетради. Полез с этим-богатством на печку — думаю, куда ж положить, чтобы ненадежней было, не растерять. Нашел местечко, в матице щель была. Сунул туда на сохранение. Утром собрался в школу, стал вытаскивать, да никак. Я их и проволокой, и вязальными спицами выковыривал, но одну монету так и не достал, загнал в самую глубину. До того обидно, а, что сделаешь, не станешь же ломать потолок... Пока учился в школе и в институте, все помнил. Один раз даже приснилось, будто я выметал гусиным крылом деньги из-под этой матицы. Целую кучу намел. Вот и приехал достать свою монету.

— Достал? — спросил Лента.

— Пока нет. Три пролета в потолке разобрал, остался один, над самой печкой. Оставил на после обеда, чтоб поволноваться малость. Хотите посмотреть — пойдемте кто-нибудь один. Десять лет все-таки пролежала, реликвия.

— Иди,— сказал мне Лента, но тут же поправился: — Вообще, не спешите, еще поговорим. Про политику.

— Ты политикой интересуешься? — засмеялся Жора,—но Лента вовсе не делал вид знатока, он просто разыгрывал знающего человека и хотел, чтобы видели этот розыгрыш.

— Как там дядюшка Сэм?

Жора, однако, сказал совсем серьезно:

— Да, Лень, Сэм — это тебе не карикатура в газете. Он-то поживает неплохо. Небоскребы там не падали, все в целости. А у нас вон... штанишки какие.— Он кивнул на его грубо

заштопанную в коленке штанину.— Сперва атомную изобрел, теперь ядерную. Ну ничего, страшное позади, теперь и у нас кое-что есть.— Он встал, прикоснулся к плечу Ленты.— Так что не переживай, будут у тебя штаны и шляпа такие же, как у дяди Сэма.

— Котелок,— поправил Лента.

— Вот-вот, котелок.

Мы пошли с Жорой в Лужну. Дорогой он пытал меня:

— А ты что ж, учиться дальше не собираешься? Так и будешь пасти стадо?

— С учебой в этом году не получилось, в ремесленное не поступил.

— А теперь как же?

— Уеду на завод учеником токаря.

— Завод — дело неплохое, но это от тебя не уйдет. Ты кончал бы десятилетку — и в институт. Никаких скидок себе делать не надо. Где из дома помогут, где вагоны разгрузишь. Почту можно разносить. Только так надо пробиваться. Без скидок.

Я сознавал, что разгрузка и почта не для меня, но пообещал подумать насчет десятилетки.

— А на кого учиться?

— Это уж не знаю. Жизнь, Иван, сама подскажет. После десятилетки разберешься, профессий много.

— На прокурора тяжело?

— Кому как. Мне, например, терпимо было.

Дом Королевых стал четвертым новым строением в нашей сожженной Лужне. Покрытый шифером, он привлекал глаз своими стенами с прямыми бревнами, отчего они казались разлинеенными, как лист тетради.

Особенно красиво, когда два окна — в передней и задней стене — совпадут и через них увидишь яблоню на огороде. Старая хата стояла без крыши и портила весь вид. Два мизерных окошка с выбитыми стеклами напоминали две дырки в испорченной копилке. Глина со стен почти вся осыпалась, и если приглядеться к боковой оголившейся стене с плетневыми завитушками, хата покажется каким-то исхудавшим живым существом, у которого видны ребра.

Жора переоделся, и вдвоем мы быстро разобрали пролет потолка. Последние колья вперемежку с трухлявыми досками сбрасывали, когда ходили по печке. Странно было думать, что тут отогревали свои бока Жора и трое его братьев, они тискали друг друга, кричали, жалуясь матери, а она поднималась на лежанку с тряпкой или с кочергой и умиряла буянов, при этом доставалось больше Жорке, как самому старшему.

Аккуратно разобрав последний метр пролета у самой стены, Жора пригляделся к матице, сказал:

— Это вот здесь где-то.

Стал осторожно разгребать на поверхности крепкой дубовой матицы кусочки глины, пыль, полусгнившую солому и не увидел, а нащупал свою монету двумя пальцами.

— Вот она, целехонька.

Монета была тусклая, зеленоватая. Жора потер ее о край матицы, потом о пиджак, полюбовался и дал мне поглядеть. Я определил, что она не была под ударами железного пятака у игралыдигов — ровная, не уродливая.

— С собой возьмешь? — спросил его.

— Возьму, конечно. Музейная редкость.

Когда спрыгнули с печки, Жора коснулся моего плеча:

— Вот, брат Иван, это теперь уже не просто двадцатикопеечная монета, а история. Семейная, конечно, но история, а она всегда дорога. Чем горше и труднее, тем дороже. Будут у меня детишки, покажу им, глядишь, что-то поймут.

Возвращался я к Брудову саду с нетерпеливым намерением узнать, с каких же ног начинает вставать корова, с каких — ложится, и думал над советом Жоры пойти в десятилетку. Близнецы подрастут, хлеб станет вольней, Петро выбросит все костыли, и жизнь повеселеет. Значит, можно будет учиться.

Сентябрьский день был серый, хотя и без намека на дождь, но три дуба у камаринского большака все-таки виднелись. Я взглянул на дорогу в сторону Ивановки и с сожалением подумал, что завтра по ней уедет Жора Королев, а с ним о многом хотелось бы поговорить. Был забалдуем, стрелял из винтовки по звездам, а вот выдурился, будто его подменили.

ХОЛОДНАЯ КРОВАТЬ

Уехал Жора Королев, и потянуло почему-то вслед за ним, стал я сожалеть, что отказался от городской жизни. Прежняя тревога, уже утихшая, пробудилась во мне, понял, что другая такая возможность представится не скоро, надо ехать вопреки совету Жоры. Я высказал свое решение, засуетился, а растерянная сестра даже не сопротивлялась, она лишь попросила отсрочить отъезд на денек, чтобы собрать меня, как положено.

На второй день сестра штопала, стирала, укладывала, а я, оставив Ленту одного, пошел к бригадиру Трескину за справкой о моем трудовом участии в колхозе. Бригадир пришел на обед и сидел за столом один. Не убирая посуды, взял письмо училища, похвалил директора Поповского:

- Ишь какой молодец. Правильно, справка нужна, раз год проработал. Должны же знать, кто к ним приехал.

Мне не хотелось думать ни о чем плохом из прошлого, а в голову лезла сцена у скирда, кнут, наша схватка с Трес-киным, и все это так некстати. Казалось, бригадир слышит мои мысли.

Он сдвинул с края стола ложку, вилку, кружку, вырвал из тетради листок и стал писать. Писал, как мне показалось, долго, а не получилось и десяти строк. Переписал начисто, отдал.

— Заверишь в конторе, если председателя нет, главбух распишется. У него печать и штамп.

— Спасибо.

— Жалко, что убегаешь, тут своих дел — во как.

— Прислали,— оправдался я.

— Ну, раз так — держи.— Он жиманул до боли мою руку.

На улице я прочитал:

Справка

дана члену колхоза «Власть труда» Селезневу Ивану Максимовичу в том, что он отработал в колхозе после семилетки один год и за это время показал себя с положительной стороны. Пас стадо, не боялся никакой другой работы. К людям относился уважительно. Справка выдана для предъявления по требованию ремесленного училища.

Председатель колхоза
бригадир Трескин.

Опять вспомнилась сцена у скирда, и стало так неуютно перед такой справкой за тот скандал. Трескин казался мне отцом.

Утром Петро выгнал стадо — он уже опирался на негнущуюся ногу, но пока с костылем в руке. Сестра и племяши провожали меня. Сережка ухватился за мою левую руку. Пашка взялся за правую, в которой был чемодан.

— Дядя, неловко Павлику,— заметила сестра.— Ну-ка, вот так.

Сна выхватила у меня чемодан и прибавила шагу, пошла впереди, с чемоданом и сеткой, а довольные ребята нетерпеливо подпрыгивали рядом со мной. Я подумал, как тоскливо будет без них в городе.

— Ты скоро приедешь?

— Приеду, скоро.

— Игрушки привезешь?

— Обязательно привезу, только вы тут старайтесь. Племяши обещали жить дружно, слушаться родителей,

стараться изо всех сил, Они даже у большака не отрывались от моих рук.

— Поговорите, поговорите с дядей, а то теперь неизвестно, когда придет,— подсказала сестра.

Она наблюдала за нами с интересом и не давала мне никаких наказов, Только потом, когда ребята оторвались от моих рук, напомнила ненастойчиво, чтобы присматривался к людям, не перенимал плохое и чаще бывал на глазах сестры Екатерины, а еще чтобы для зимы ботинки получал на два размера больше.

Наконец остановилась машина, и я в этот раз сдерживал себя, чтобы не спешить, чтобы все было по-взрослому. Положил наверх чемодан и сетку, напоследок крутанул вокруг себя одного, другого племяша, кивнул сестре «Поехал» и влез в кузов. Она ничего не сказала вслед, не всплакнула и даже не махнула рукой. Стояла какая-то отрешенная, сцепив перед собой опущенные руки, будто вглядывалась и никак не могла понять, я это или кто-то другой. Племяши махали руками энергично и долго. Когда выехал на ивановскую горку, увидел, как она пошла к дому, а впереди наперегонки покатались две фигурки. Я оробел по-настоящему: как же теперь без них? Но взял себя в руки: «Не раскисать, вперед».

Проехали школу, старый барский сад, на открытом месте с ивановской стороны увиделись три дуба на камаринской дороге. И зазвучал в ушах сладостно-печальный мотив: «На муромской дороге стояли три сосны...» Показалось, что разрушается моя связь с этими тремя дубами. И захотелось пойти туда, в сторону Маговки, чтобы прикоснуться к ним руками и выйти из фантастической игры, в которой я определил себе вечность в связи с их вечностью, поздороваться с ними и тут лее попрощаться. Но пойти бы туда не одному, а с Ниной Паршиной, понять там такое, что пока еще не доступно ее и моему разуму, получить благословение на городскую жизнь. И тогда вырвать эти неуклюжие строки об измене и придумать свои слова.

Машина легко катилась, объезжая старые лужи и колдобины, тянулось светлое жнивье чужих колхозов, и повсюду сверкали паутинки — плыли в воздухе, цеплялись за одежду и липли к лицу. Три дуба скрылись за холмом, но теперь они стояли в моем воображении великанами. Задумал, что вот переживу в городе зиму и летом на каникулах сойду с Ниной поближе, приглашу ее пойти по камаринскому большаку к дубам, чтобы полюбоваться их мощью и дать друг другу слово верности.

Отдалялся я от Лужны, а все думал навязчиво о дубах, о моей затухшей сказке про «контору справедливости», о телефонном столбе, осиротевшем без меня,— кто теперь его так поймет и кто с таким уважением взглянет на него? Старался думать о городе, где мне придется набивать шишки за все, что исходит от обидного слова «деревенщина». Явственно представил себя в комнате общежития двоюродной сестры Екатерины, повторил в уме разговор с ее подругами за ужином, представил их смех над моим желанием переспать в кладовочке. Сколько еще вот так же придется садиться в галошу?

Мысли эти оборвались. Впереди делали насыпь новой дороги грейдеры и бульдозеры, машина свернула в сторону, тяжело переваливаясь по изрезанному полю. Было это уже на середине пути между станцией и Ивановкой. С жалостью оглянулся на старый большак.

Город был по-прежнему шумен. У дверей магазинов суета, машины звонко перекликались сигналами, словно спрашивали меня: кто ты?

Добравшись до общежития, я оставил там чемодан и помчался в училище. В этот же день сдавал экзамены с глазу на глаз одному преподавателю — пожилому мужчине, который заглядывал ко мне через плечо и указывал ошибки сначала в диктанте, а потом в примерах по математике и поставил тут же две четверки. Экзамены заняли не больше часа, и после этого я пошел устраиваться в общежитие. Подселили меня к трем парням, которые приехали из разных районов. Дело было в конце дня, все трое находились в комнате. Один из них, по имени Жек, с припухшей нависающей верхней губой и с какими-то усталыми глазами, все допытывался, разыгрывая блатного: откуда я «прикантовался», по какой «специи» собрался

учиться, кто из начальства взял меня под свой «покров». Он предложил быть моим «карифаном» и вяло протянул руку:

— Держи корягу.

Двое других, братья, не вмешивались в наш разговор, они лишь услужливо подхихикивали «карифану». Все трое были в новых гимнастерках, туго перетянутые ремнями с бляхой «РУ», о которой я столько месяцев мечтал. Но зануло сердце, оно будто говорило, что не моя это комната, не мои друзья, не мое училище, отсюда все равно придется уезжать. «Начинается, надо сразу брать себя в руки...» Я угостил ребят яблоками, сложил в тумбочку все, что было в сетке, и поехал к Екатерине развеяться после долгого и напряженного дня.

Екатерина расспросила и порадовалась за меня. Она давала наставления, как вести себя в общежитии, а все это вызывало обратное желание — уехать в Лужну. «Что у меня за натура, обязательно противодействует», — возмутился я собой.

Вернулся в общежитие незадолго до отбоя. Братья уже спали, а Жек еще не пришел. Не включая свет, я стал устраиваться на чистой и холодной кровати, поскрипывающей пружинами. Прежде чем лечь, заглянул в тумбочку и увидел, что от моей курицы в газете осталось только крылышко да обглоданные кости и яблоки тоже кто-то располовинил. Ненавистными показались мне спящие братья, вознамерился было разбудить их и потребовать объяснения, но понял, что они не виноваты. Разволновавшись, лег спать в расчете дожидаться своего «карифана». /Думалось о моем брошенном родовом корне, о Нине, оставшейся на моей родине, представлялась сестра у большака и фигурки моих племяшей. Я знал, не один день буду тосковать по дому, и убеждал себя, что справлюсь с тоской, переломлю себя.

Лежал под холодным одеялом и обдумывал свои действия, настраивался не прощать, дать бой Жеку. Или сейчас, или никогда — так определил я обстановку. И как ни волновался, все-таки заснул. Проснулся от шума и света.

— Пижоны, вы уже кемарнули? — трепался Жек. — Нехорошо, нехорошо раньше батьки.

«Пижоны» отвернулись от света, натянули на головы одеяла.

— А ты что? — неизвестно к чему спросил я для начала.

— Да, Иванча, мы тут потревожили твою шамовку. Ты уж извини, в желудок надо было что-то бросить.

Язык мой будто онемел, и я отложил суровый разговор до утра. Отвернулся к стене, мучительно ждал, пока Жек выключит свет.

ПРОСТИ МЕНЯ, ГОРОД

Утром поговорить не удалось — все опаздывали, спешили в столовую, и Жек ушел первым. Я обошелся без казенного завтрака, потому что предстояло определиться в группу, получить обмундирование. Тяга в Лужну становилась невыносимой, но я приблизился к своей мечте — к шинели с петлицами, красивыми пуговицами и к фуражке, ко всему тому, о чем мечталось, а это теперь должно отрезать путь к отступлению, помочь справиться с хандрой.

Съев куриное крылышко и яйцо, я пошел в учебную часть, чтобы определиться в группу. Нашел завуча, запомнил расписание занятий и разыскал кладовщика Афанасия Даниловича, хромого словоохотливого мужчину в военном картузе, из-под которого выбивались курчавые пряди. Он велел подождать в коридоре и все шнырял по кабинетам, кого-то искал, что-то выяснял. Наконец мы пошли в кладовку. Это была кирпичная пристройка с задней стороны учебного корпуса.

— А когда теперь можно попасть домой? — спросил я. — В любое воскресенье или надо отпрашиваться?

— Вот как, — удивился Афанасий Данилович. — Добрые люди почти месяц отучились, а он только прибыл — и домой.

— Да это я к примеру.

— Ну, раз к примеру, могу обрадовать. По-моему, завтра или послезавтра вас распустят

по домам дня на два, чтоб привезли старую одежонку и обувь. В колхоз отправляют, на уборку картошки.

— Куда?— уточнил я, не зная, радоваться такому случаю или огорчаться.

— Распоряжение есть послать в Соснорский район всех первогодников. В какой колхоз — не помню.

— А деревня? Не Сквородовка?

— Ео-во, вроде этого. Сквородовка или Чугуновка. В общем, что-то связанное с печкой. Сквородовка — это колхоз имени Первого мая, соседний с нашим колхозом «Власть труда». Он занимал такую же площадь, но трудоспособных там было менее двухсот человек против наших пятисот. Многие семьи уехали жить в Крым, на Украину, в Калининградскую область, так что с полевыми работами первомайцы без городских не управлялись. И вот в этой Сквородовке мне предстояло недели две-три жить где-нибудь в амбаре и копать картошку. А если зарядят дожди?

Успокаивало то, что я буду работать рядом с домом, буду ходить на ночлег в свою Лужку, но это опять же мельтешить на глазах лужинцев, смешить Ленту: горожанин-колхозник. Радовало, правда, то, что уже через два дня неожиданно заявлюсь домой в новой ремесленной одежде и могу каждый день ходить на вечеринку в Ивановку, а по выходным видеться с Ниной Паршиной. Значит, нет худа без добра.

Вспомнилась моя фантазия — полузабытая «контора справедливости», где за все мои хорошие поступки выкладывают на стол одежду,— вот она, живая действительность, я подхожу к этому волшебному столу. И самый главный пока волшебник во всем училище — Афанасий Данилович.

— Как величать?— говорит он, перебирая связку ключей около двери.

— Иван.

— Проще не придумаешь. Поди, и живешь в Ивановке?

— Нет, Ивановка рядом, там правление нашего колхоза.

Он взглянул на меня, убедился, что не шучу, и улыбнулся. Открыли, вошли, включили свет. Ящики с ботинками, сапогами, валенками. Шинели, наваленные на стеллажах и висящие на плечиках, полки с бельем. Через неплотно прилегающие занавески на окнах видны металлические решетки. Афанасий Данилович садится на табуретку, неловко отставляя ногу в сторону, заполняет графы в какой-то ведомости.

— Как фамилия?

— Селезнев Иван Максимович.

— Размер одежды?

— Был сорок четвертый. Теперь, наверно, сорок шестой.

— Обуви?

— Не знаю.

— Как?

— Давно не покупали, а ноги выросли.— Вспомнив наказ сестры, я определил с поправкой на ботинки зятя: — Сорок второй.

— Ну-у? — Кладовщик недоуменно поглядел на мои ноги.— Не может быть. Сороковой, поди, или тридцать девятый. А фуражка?

— Тоже сорок шестой,— сказал я уверенно, ориентируясь по одежде.

Афанасий Данилович выпрямился, откинул к краю стола руку с авторучкой и, глядя на меня, сдержанно, тихо рассмеялся, содрогаясь всем телом.

«Нет, пока не получается, как все представлялось в волшебной «конторе справедливости»,— подумал я, пока он смеялся.— Что дальше, как будет наваливать на стол?»

— Пятьдесят пятый, полагаю,— решил кладовщик, но я на всякий случай промолчал.

Вылез Афанасий Данилович из-за стола, принес шинель и фуражку.

— Вот это твои размеры, у меня были заложены бумажки. Сорок шестой и пятьдесят пятый. Прикинь-ка.

Натянул мне фуражку с блестящим козырьком и с перекрещенными молоточками — она

пришлась как раз по голове. Развернул шинель, и в неярком свете кладовой я увидел, что она старая. Приглядевшись получше, заметил, что рукава и воротник затерты до блеска, а подкладка в нескольких местах прохудилась.

— Это все изношенное?— уже не надеясь на лучшее, осмелился я спросить, чтобы засвидетельствовать факт обмана.

— Пока старенькое. Размеры сорок восьмой, пятидесятый есть, это в избытке, а твоего нет. Человек пятнадцать оделись вот так же, в старое. В четвертом квартале должны поступить — тогда пожалуйста, все с иголки. А куртка, брюки, белье, ботинки — это все новое, как положено.— Он потянулся к полке, на которой лежало белье.

Все запротестовало во мне. Снял я фуражку и не столько испугался, сколько обрадовался: верх над козырьком был захватан масляными руками, а над правым глазом в козырьке была трещина — в козырьке, за который я должен буду, как думал не раз, приподнимать фуражку перед Ниной Паршиной и приглаживать чуб.

— Не нужна мне такая форма,— взвинул я себя, боясь уступить, и положил на стол фуражку, а шинель — на табуретку.

— Как? А где ж я возьму другую?

— Ну и не надо, обойдусь.

Я знал, что теперь надо говорить. Получилось так же, как в тот день, когда выгнал первый раз скотину. Но тогда не было подходящего повода, не было возражений против оплаты, да и оплату выбирала сестра — здесь же помехой было старое обмундирование, а хозяин положения я сам: как решу, так и будет. Афанасий Данилович пытался объяснить, уговорить, но это только укрепляло мое стремление уехать. Я пообещал ему зайти к директору, хотя не собирался ни к кому заходить и ничего выяснять — вдруг еще найдутся новая шинель и фуражка. Я знал, как будут развиваться события дальше, но надеялся, что дома отстою свой выбор.

Не забрав своих документов, пошел в общежитие Екатерины и написал записку, что еду домой и, может быть, через неделю вернусь за чемоданом. Оставалось добраться до Лужны, убедить своих в правильности моего выбора. Чемодан удобнее привезти потом, незаметно.

Сел в пригородный поезд и понял, что назад пути нет. Тревожило чувство, что бегу из города, как швед из-под Полтавы. Но был убежден, что поступаю правильно, как советовал Жора Королев: надо учиться в средней школе. Жора соблазнил городом, Жора и вернул назад. Раз уж сложилось с ремесленным училищем непутево в самом начале, обойдусь. И песню о муромской дороге перепишу по-новому.

Вагон колыхался, колеса переговаривались, где-то что-то скрипело и стучало, а я, слыша это, глядел на проплывающую окраину города, от которого теперь уже не был зависим. На откосе стояли дети и прощально махали ручонками. Тут я хорошо осознал, что кого-то подвел, обманул, и сказал про себя отдаленным многоэтажным домам: «Прости меня, город».

Со мной происходило что-то непонятное. Думалось о материнской поговорке: «Что бог ни делает, все к лучшему». Конечно, бог тут ни при чем, не волей божьей будет все к лучшему, а при условии, что правильно поймешь и оценишь все тяжкое, вынесешь из случившегося горькие уроки. Вот тогда и удивись: неужели все это было? И хорошо, что было.